

Знаменская Антонина Николаевна (в девичестве Головина)

Корреспондент Татьяна Косинова

Вторая часть интервью, кассеты №№3-6.

17.03.2004

Кассета №3

- Так о чем мы говорили?

- О нагрузке пионерской.

- Да, я так и выполняла. Ну, а потом там всякие физкультурные парады, я там с удовольствием участвовала, потом мы все это - физкультурные номера готовили на праздники, пирамиды Синие шаровары были у нас сатиновые, белые курточки - такая форма у нас была. Я так физически была развита, у меня всегда это хорошо получалось.

А в комсомол я так проскочила, знаете... Я думала, что, конечно, меня не примут. Я, конечно, не была грамотна политически. Обычно комсомольцев не так много, на них смотрели как на элиту. Это был 1939 год. В 1939-м, 1940-м и 1941 чего-то вдруг начали так много принимать в комсомол. Я была в 9-м классе. И секретарь комсомольской организации подходит и говорит: «Головина, подавай заявление, тогда-то будет собрание, ты приходи...» Тут я испугалась очень, потому что там, я знала, надо рассказать биографию. Я решила так: скажу, будь что будет. Ну, а мне куда деваться? Врать очень боялись. Потому что у нас было такое впечатление, что КГБ все на свете знает. И если уж КГБ соврешь, то тут тебе крышка. Врать никак нельзя было, этого боялись. Думаю, приду, расскажу да и все. Много было заявлений на этом собрании, и начали не с меня, и каждый долго рассказывал, заикаясь, свою биографию. Когда очередь до меня дошла, видимо, народу надоело. Ну и сказали: «Еще заявление от Головиной из 9-б класса. Расскажите биографию». А все закричали: «Да знаем, знаем мы эту Головеху! Не надо, не надо!»

- Как вас звали?

- Головеха. Это мое прозвище. А кто за мной ухаживал из мальчишек, звали ласково Головешечка. Ну не надо и не надо, все. Я так встала, показалась и села. И больно хорошо. А за мной шел Коля Ниновский, тоже из нашего класса. У него отец священник. И служил в Пестове в церкви Покрова. В полутора километрах, на берегу реки стояла церковь. Он был репрессирован, там и умер. Колька встает. Его не так знали, как меня, надо рассказывать. Он говорит: «Моя биография будет короткая, а главное хочу сказать, что мой отец - служитель культа, он репрессирован и в ссылке умер». Быстро произнес и сел. Я замерла, думаю: ой, молодец какой! А они, будто и не слышали! «Какое будет решение? Давайте голосовать». И все проголосовали. А потом, я уже теперь читаю, знаю, что старались побольше набрать комсомольцев, чувствовали, что война будет, комсомольцами-то легче управлять, чем неорганизованными, как тогда беспартийные назывались. Потому так спокойно и взяли Кольку. Это был 1939, а в 1941 году, через полтора года война началась. Так что в комсомоле я была, это точно.

Первый год я училась в Свердловске, там я первый курс кончила, а когда приехала на второй курс в Ленинград, уже был 1944 год, сняли полностью блокаду, и можно было уже здесь учиться. Нас не отпускали из Свердловска. Мы с приятельницей уехали и все, зачетные книжки были у нас, отметки были, а комсомольский билет у меня там был, на учете в институте состояла. А когда приехала сюда в Ленинград, первое, что побежала в Мариинку, купить билет. Я ни на одной опере не была, ни в одном таком театре. В Свердловске была, но для меня настоящий театр - это было все с Ленинградом связано. Стою, читаю афишу, рот открыла... Потом когда уже выбрала, куда я пойду, глянула - у меня портфель

раскрыт. Там лежала маленькая сумочка: деньги, документы. У меня и комсомольский билет ть-тю, нету. А потеря билета – это политическая смерть. За это так наказывали, и могли исключить. Ой, а я и думаю: ну я и скажу, что я не комсомолка, и не буду я никому говорить о потере, я только приехала, я еще не была в институте, не знаю, возьмут меня или нет еще без отпускного, без документов соответствующих. Так хорошо и кончилось все, там была комсомольская организация. А когда в партию я задумала пролезть... (видит, что интервьюер удивлена) Да-а-а... А что? Я защитилась, получила ставку младшего научного сотрудника, и все, и будешь ты сидеть. Как какие-нибудь съезды, конференции интересные – едут члены партии, а беспартийных никто не пошлет, я это... грамотная, что там говорить... Я поняла, что мне надо в партию. Но мне никто не предлагал, а сама я не суюсь. Сразу это подозрение: чего ты лезешь в партию? Сразу падает тень – почему-то рвется в партию. Какие-то следы замечает. Нельзя было самой. То есть предложить должен кто-то. А было такое положение, что среди научных сотрудников очень мало было членов партии. Ну и там вызвали секретаря в райком и сказали, что, в институте две тысячи народу, а там чего-то восемьдесят только членов партии, очень мало, что разрешаем вам достойных сотрудников принять. Сколько-то там человек, видно, много. Моя профессорша была на ученом совете, подошла и сказала: «Антонина Николаевна, со мной разговаривал секретарь партбюро, он считает, что вам можно подать заявление в партию». И я в душе обрадовалась и испугалась. Думаю, ну как мне сделать, надо же правду тоже говорить, перед партией соврать – ну? А так как я один раз уже соврала, и мне это проскочило... Я соврала, когда меня не приняли в аспирантуру в моем институте, который я кончала, педиатрическом. Сдала экзамены, пошли документы в Москву, а там не приняли, прислали обратно. Я поехала в Москву, говорила с министром. А он глаза так опустил, говорит: «Вы на следующий год приезжайте, нам научные сотрудники, молодые силы, нужны»... Куда я пойду? На будущий год я опять пришла в свой институт. Профессор опять опустил глаза, говорит: «А может быть, вам лучше не в наш институт, а в научно-исследовательский? Я знаю в Институт физиологии тридцать аспирантских мест дали, а нас всего только одно. Извините, у меня есть ученик, который тут все пять лет работал, в кружке и так далее». Ну и дал мне адрес. А когда вышла, я встретила заведующую аспирантурой. Она спрашивает: «Поговорили с профессором?» Я говорю: «Да, он советовал туда-то идти. Не понимаю, почему, я ведь тоже этот институт кончала». Она говорит: «А что было с вашим отцом?» Я сразу все поняла, почему меня не берут. Еще она сказала, что там другое ведомство, мне там будет лучше. Так и не называя причины, полунамеками, на таком уровне...

- Это какой год?

- Это был 1952. Я и отправилась в НИИ физиологии. Мне сказали: да, пожалуйста, подавайте, педиатры нам очень нужны, вот вам списочек, какие документы надо. Все. И я села писать. Первое – это характеристика, второе – заполнить анкету подробнейшую. Я села, и думаю: ну как напишу? Что я была в ссылке, а отец в лагере? Думаю, будь что будет. Напишу, что я чиста, как пролетарий. Ничего, ни про себя, ни про отца, ничего не написала. Только надо было объяснить, что я родилась в Обухово, а почему-то школу кончила в Пестове. Я просто написала: в 1934 году со всей семьей мы переехали из деревни на станцию Пестово, и все. Вот так я соврала, чтоб поступить в аспирантуру. Теперь уже несколько лет прошло, я уже защитилась, – в партию вступать. Тоже во мне дрогнуло, думаю, партия – все же это не аспирантура, тут могут... Но уже отступать некуда, я теперь уже вру то, что раньше у меня было сказано. А у нас начальник первого отдела был, забыла его фамилию, очень такой мужик ушлый, уж такой дотошный был... Рассказала биографию, начали мне задавать вопросы. А он мне говорит:

«А вы комсомолкой были?» «Нет», – говорю. – «А почему?» – Говорю: «Такая маленькая у нас была школа, маленький поселочек, там не было комсомольской организации». У него блеснули глаза, я поняла... Он говорит: «Да, да, понятно, понятно». Он понял, что я вру, а я поняла, что он понял. Ну, и ничего. Другие задавали вопросы. Профессор Курицын, он симпатизировал мне, говорит: «Вы очень мало рассказали о своей научной деятельности, вы расскажите, на какие вы ездили семинары, съезды, с какими докладами?» Тут уж я все это рассказала, пожалуйста. И приняли, и ничего, я так проскочила.

– Это в каком году было?

– Ой, а когда Гагарин полетел? Вот в этот год. Да, в 1961.

– А что потом было с этой партийностью?

– Подала заявление о выходе. Я когда съездила в Сибирь, я же ездила на место своей ссылки, и я помню, как от этой станции Яя нас повезли на лошадях, и была стена тайги. Я так и думала. А теперь-то я уже ехала на машине, меня везли. Чисто поле. Только растут какие-то березки. Я говорю: «А где же тайга?» Говорят: «Да нет». «Да что вы, – говорю, – я же помню точно, когда мы ехали шестьдесят с лишним лет назад, тайга была». А шофер, который вез, говорит: «Да-да, чего-то мне отец говорил, что здесь был большой-большой лес, тайга была. Так вырубили». Я говорю: «А чего, не бросить было еще?» А я очень хотела кедр. Кедр, у меня прямо душа болела, кедр увидеть, сколько мы лазали, сколько мы переели шишек этих. И ни одного кедр. Я говорю: «Неужели я уеду и так и не увижу кедр никакого? Так могли же шишку-то бросить, она бы выросла, здесь ничего не надо...» Думаю, Боже мой, как испохабить землю, двести километров проехала, вырубить такую тайгу... Но надо было тоже дать работу, во-первых, а во-вторых, не жалеют, и не думают, что надо, если ты вырубил – посади. Почему-то это меня так возмутило... Я знала, что я, конечно, тоже выйду из партии. Я приехала и сразу заявление подала.

– А в каком году вы ездили в Сибирь?

– А в 1990-м.

– А в связи с чем?

– А хотела на то место. Это тянет так... Я и сейчас собираюсь еще съездить. Танечка, так тянет. И я очень довольна, что побывала. Но я своих барачков не увидела, потому что там зону закрыли, как мне сказал комендант, и дорога заросла. Ну уж конечно, там дорогу зарастить, двенадцать километров, которые мама ходила, а только была в этом Центральном Руднике, где комендант был. Там я побывала, посмотрела, походила... Идет женщина. Я остановила, говорю: «Местная?» – «Местная».

– «А вы не знаете, можно проехать поселок Шалтырь?» Она говорит: «Нет-нет, нельзя. Мой племянник прошлый год хотел на мотоцикле, так и то не проехал». А я говорю: «Может быть, какой другой имеете в виду поселок? Мне там, где были сосланы раньше кулаки». Она и говорит: «Я сама кулацкая дочь, я сама там была, знаю». Я как вздрогнула и отглянулась. Это мне противно перед собой. А потом думаю: а чего я оглядываюсь? А вы говорите – этот страх. Я говорю: «И я кулацкая дочь». Первый раз громко сказала. Хоть и кругом никого не было. Я уже тоже хотя бы этим горда. Она говорит: нет-нет, ездил... Ну я спустилась к реке, эта же река, Шалтырь, проходит, помылась, мысленно послала привет, что я здесь, я выполнила свое слово, песочек взяла на могилку родителям, маме свезла. А еще хочется, еще хочется.

– Так что там с партией-то было, потом?

– А я приехала, подала заявление, ну и все. Я уже была на пенсии, а состояла в своем институте. Тут уже чего-то я такая храбрая была, какая я приехала из Сибири, такая вся... Меня там так принимали... Какое-то возмущение... И подала заявление. Потом вдруг встречаю технического секретаря нашей партийной организации, она там печатала протоколы, Аня

такая. Она ко всем очень хорошо относилась, и у нас даже приятельские были отношения, она жила одна, у нее ни мужа, ни ребенка, и ... хороший человек. Иногда бывало – нету времени забежать, заплатить партвзнос – позвонишь, скажешь: Аня, заплати ты, пожалуйста, мне не вырваться. Она знает, у меня маленький ребенок, мужа нету, поэтому сложно мне. Заплатит всегда. И тут мы встречаемся. Я что-то даже и забыла уже, что я подала заявление-то. Встретились, она и говорит: «Знаменская, все, тебя выгнали из партии». Я говорю: «И спасибо вам на этом». Летом это было. А после отпуска, уж к осени, мы с ней встретились. Она мне и рассказывает: знаешь, говорит, тридцать человек сразу подали заявления за лето, теперь все собрались, на днях было собрание это. она и рассказывает, что тридцать человек было, когда зачитывали, что подали заявления о выходе из партии. Там, Иванов, Петров, молчали все. Как сказали – Знаменская – так все и... Знаменская – и все, говорит, ахнули. Что никак от меня не ожидали. Я такая была правильная, понимаете, как я выслуживалась. Чтоб никто не заподозрил...

- А в чем состояло это выслуживание?

- Господи, если лектор – я. У меня вон есть книга такая, грамота большая. Мы же читали научно-популярные лекции. Значит, уж я в первых рядах. Безотказно. Если хотите, в милицию ходила, в ЖАКТы ходила, на эти, родительские собрания, в любую школу – безотказно. Все знали, Знаменскую попроси – я все бросаю, иду читать. Теперь – по работе уж, скажут на ученом совете, что надо нам свои данные в практику внедрять, что какие-нибудь две-три статейки где-нибудь в газетах. А уж у Знаменской и брошюра выпущена. Так что я очень даже старалась, очень...

- Не в идеологическом смысле, все в научном?

- Не, да-да-да. Ну а как в идеологическом? Если, например, выборы, и меня назначают этим, как они назывались, агитатором, то уж мои избиратели придут раньше всех, я уж там обегаю, пороги обобью: Бога ради, придите голосовать.

- Что значит «обегаю пороги»? Раньше ведь все ходили на выборы

- Да-да, а сколько мы бегали, их приглашали? Не думайте, они не очень. Ведь мы знали, что они придут. Но мне-то надо, чтоб мои такие-то квартиры (мне давали десять-двадцать, я не помню, сколько давали, немного, скорее, десять) чтобы мои пришли раньше.

- И что будет?

- А я – хороший агитатор. А как же? Я где могла, все выпендривалась. Нет, не переведут это... (смеются)

- Что значит выпендривалась? Старались?

- Старалась. Стара-а-алась. А если мои придут поздно, в десять вечера (ведь до десяти или до двенадцати, долго голосовали), скажут: «Вы что это, Знаменская? Как это вы не смогли организовать своих?» Контра! Нельзя было. Ну и секретарь партийной организации, когда кончались выборы, на ближайшем партсобрании делал отчет, что у нас был такой-то участок, лучшими агитаторами были такие-то коммунисты. Всегда там была Знаменская. Ну, как же!

- А что еще приходилось делать в качестве коммуниста?

- Пожалуй, только так выборы, а больше...

- А кого-нибудь осуждать за что-нибудь, каких-нибудь диссидентов, каких-нибудь... Не было у вас такого?

- Не было. У нас одно было собрание, когда начали уезжать в Израиль. Они долго хлопотали на родину... на обетованную землю. У нас была активная сотрудница, всегда была в партбюро и могла словами уничтожить, если ты, рядовой партиец, да чего-то там не выполнил. По фамилии Завадская. Ее все мы боялись. И вдруг нам объявляют: она уезжает в Израиль. На партийном собрании, представляете? Шок. Но до собрания нас всех предупредили: никаких выступлений не надо, пускай едет спокойно.

- А кто предупредил?

- Секретарь. Секретарь своим парторгам сказал, что будет на повестке собрания, мы должны утвердить, но обсуждать не надо. Это ж было так организовано, как у этих... Какая-то тоже организация... масоны или кто-то там, такая же была организация. Парторг приходит и говорит, что так и так будет.. «А кто, а кто?» – спрашиваем. – «А там и услышите». А мы не знали, фамилию-то не сказали, только сказали, что будет... Хороший был очень сотрудник, но, главное, она очень была партийная и первой уехала. И хорошо, что не рекомендовали осуждать. А то бы ой, раскричались бы, я представляю. «Предает родину», и еще там всякие глупости советские.

- А с событиями в Чехословакии, с войной в Афганистане как было?

- А у нас чего-то не было, в нашей среде... Нет-нет. А в каком они? В 1968? Я уже была в институте... Нет, у нас это прошло тихо. Я уже была в партии, и ничего. Может, кто-нибудь подписывал – академики, доктора наук, – уж никак не мы.

- А то есть не было каких-нибудь собраний, где нужно было поддерживать какие-нибудь действия советского государства?

- Да, мы поддерживали конституцию. Разбирали конституцию, предлагали такую статью, такую статью, нам все говорили, что это все будет учтено. Бывший фронтовик Красин, очень грамотный, умный мужик был, он все наши пожелания собрал в каждой лаборатории, от всех парторгов и зачитал на общем собрании, обещал, что все будет учтено. А мы хихикали, мы знали, что вранье это все, ничего они там не будут учитывать.

Я вступила в партию только чтобы карьеру сделать. Ну что вы, я же знаю, что я ни на один съезд не попаду, и никакой мне никогда премии не будет. Тут я вдруг нашла грамоту: третья премия за монографию Знаменской присуждается. Я уже была старшим научным сотрудником. А научные работы за плату писали. Это большое подспорье было. У нас были ежегодные конкурсы работ, статей научных. И я тоже там получала. А только члену партии, так не давали. Все это отлично знали. Я только из-за карьеры. А потом так начала ездить... Я же была на Всемирной конференции психологов и физиологов. Где-то фотография у меня есть, я там сижу во втором ряду, такая умная вся, ой. А ведь у нас психология-то была – лженаука буржуазная... Генетика, психология – это все при Сталине-то не наука, это не люди были... И вдруг первый раз такая объединенная – это ж как было интересно!

- Это где?

- В Кремле. Во Дворце съездов, который строил мой брат (МГУ и этот Дворец съездов). Там пять этажей вниз, знаете? Это мне брат сказал. Я на всех была съездах физиологических. И в Минске, и в Киеве – они всегда проходили в главных городах республиканских. И в Грузии была, и в Армении... Нас так принимали – лучшие гостиницы. Тогда ведь очень были в почете научные сотрудники. Я попала в такой удачный момент, а бедные мучаются. А тогда на таком подъеме была наука у нас, и хорошо оплачивалась. Ну, подумайте, я защитилась, ну чего, была там девчонка – тридцать один год – я две тысячи получала. Если инженер со стажем – сто двадцать, тысячу двести. А я две тысячи. Сразу. Представляете, как? А получила звание старшего научного сотрудника, это процент – три тысячи получала. Так конечно я безбедно жила. Не может же кулацкая дочь жить на восемьсот рублей... (смеются) как мои подруги все. На полторы ставки бедные мучились, и это получалось там сто – сто двадцать рублей. Представляете – а я триста рублей (это после 1961 года) получала. Конечно, я и ездила много, в Польшу ездила, длительно. А это редко отпускали длительно, я в Польше первый раз была два месяца, второй – месяц. Там совместная работа была изумительная. Так что конечно я сразу почувствовала, все... А так, никуда не денешься. Как

моя мама – и в кружках играла, и на собрания ходила – так и освободилась. Так и я старалась вовсю. Это подстегивает, очень даже подстегивает. Это тоже палка о двух концах, надо вам сказать. Когда притесняют – это не так плохо. Да-да-да. А возьмите евреев – как рванули они в интеллектуальном отношении! Везде их прижимали. А я на себе почувствовала, когда прижимают – это неплохо. Еще такая у меня есть мысль, философская. Да-с, да-с.

– Не мазохизм?

– Нет, не-не-не, не. Ну, это правда так, когда все можно, все дозволено – человек расслабляется. Ведь запретный-то плод слаще. А когда нельзя, то так и хочется. Что надо же кончить обязательно школу, а в институт-то поступить... Если я буду отличницей – ничего, положил документы – ты студент. А потом экзамены сдавать, да еще чего-нибудь раскопают? В моей биографии?

– А как же вас приняли в 1941 году в институт?

– А война началась.

– Только из-за войны?

– Да. Меня бы и не приняли, если бы и война не началась, я теперь-то понимаю, потому что он на моих документах поставил красную галочку. А было собеседование отличников, был назначен день, собеседования – не экзамен, а просто собеседование с ректором института. Я, конечно, пошла в 1-й медицинский. Сдала документа, мне секретарь сказала, что такого-то числа придете на собеседование. Ближайшее у меня воскресенье, 22-го июня. Я поехала в Пушкин. Надо же мне образовываться, я из деревни, первый раз трамвай увидела. Поехала. Еду в электричке. Народу! Сжались так, думаю, ну ничего себе, дураки в городах живут, ездить – дышать нечем, день теплый был. Выходим, и вдруг я смотрю, побежали-побежали, народ, куда-то вперед. И я побежала, думаю, ну, наверное, так надо. Остановились у столба, висит тарелка большая и выступает Молотов – началась война. А сдавала я документы, еще не было войны. Я дошла до дворца, и не зашла в него, потому что очень было жутко. Выходной, военных много – то моряки, то сухопутные, столики стоят просто так на улице, они пьют газированную воду, и вдруг к ним подходят, наклоняются, что-то говорят, они сразу все бросают и уходят. Одну картину, вторую... Я смотрю, все военные... Мне как-то так жутко стало. И очень многие сразу вернулись. Они не пошли в парк. А я думаю, я ж приехала, надо посмотреть. Я постояла около дворца и думаю: поеду-ка я домой. Мне же надо еще как-то к родителям выбраться. Приехала. Я у тети и дяди остановилась, которые уехали, они же все уехали, и с детьми, и не попали в раскулачивание. А в понедельник я должна была идти на собеседование. Народу не так было много. Мне все казались такими городскими, такими умными, культурными... Я сижу, себе думаю: ой, как это я буду с такими гениальными учиться? Они знают друг друга, разговаривают, ну а я чего – серая ворона. А потом вдруг выходит первый самый, который был такой чистый, тут все острил, всех смешил, выходит немножко сжатый. Все спрашивают: «Ну что?» – «Ой, подождите, ой, надо опомниться. Меня спросили, почему ты идешь в медицинский?» – «А ты что ответил?» – «Из любви к естественным наукам. И все. Все собеседование». Выходит следующий, тоже самое. «А ты что сказал?» – «Я сказал, из любви к естественным наукам». Ой, посмотрела, думаю, что же они, своими словами-то ничего сказать не могут? И перестала волноваться. А ректор просматривал биографию. А там я написала про себя, я боялась, не написать-то тоже, боялась. А он так подчеркнул, что я в Сибири была, и поставил (рукой показывает галочку)... И говорит: «Ну, ладно, мы вам пришлем вызов, когда начнутся занятия, ждите». Так сказал.

– А вас спрашивали о чем-то?

- А почему в медицинский? А я сказала: людям помогать надо, а уж, по моему, для женщины самое лучшее – быть врачом, поможешь. Он так долго на меня посмотрел, поставил мне птичку. Наверное подумал: «Дура ты, дура, никуда ты не попадешь». Может быть, так и подумал. Прислали мне документы, что занятий не будет, в связи с военными действиями. Ну, я 1941 год просидела в Пестове.

- А там не было, фронта, да?

- Не было, но нас один раз бомбили даже. Удивительно, да, бомбили. Но я так крепко спала, что ничего не слышала. А племянница моя была маленькая, красавица, я с ней нянчилась, и видимо устала, поэтому спала. Нас в деревню увезли, за тринадцать километров. Там немножко пожила летом, обратно, больше не бомбили. У нас как-то так, не было. 1942 год я еще прожила, а мне сестра говорит: «Тоня, а чего ты, поезжай учиться». Еще неизвестно, конца войны еще не видно. В 1943 году мы с подругой Надей договорились поступать вместе. А как? Куда? Мы в Москву написали. «У нас нет общежития» – ответили. Еще куда-то, в Ярославль что ли – тоже нет общежития. «Приезжайте, но если есть, где жить»... А моя подруга школьная, Лиля Лившиц, на год старше меня, ее отец работал в Пестове в заготконторе, выгодная была работа, а она с мамой жила в Ленинграде, она поступила еще до войны, в медицинском институте училась. Мы с ней дружили, переписывались, и я ей написала письмо: «У вас есть общежитие? Если мы пришлем документы, то нас примут?» Она написала: «Есть, у нас хорошее общежитие, по 18 человек всего в комнате. Приезжайте». Красота!

Мы с Надей вместе отослали документы. Надя была хорошист. Во время войны без «троек» принимали без экзамена и хорошистов. Ей пришел вызов: «Приезжайте, занятия не с сентября, а с октября». А мне нет. Я подождала. Говорю, ну Надя, ты поедешь, ты там сходи, спроси, все. И пришли телеграмму. Она мне прислала телеграмму: «Твоих документов я нигде не нашла». Вместе посылали. Я села да и поехала. Думаю, я должна выяснить, как найти. Ой, с билетами было трудно, я ехала на подножке, ночью, темно, с другой стороны – это меня моя двоюродная сестра научила, она студентка, уже заканчивала перед войной. Когда много народу, она говорит, так можно ездить. Свердловск, неблизкий край, короче говоря, я доехала, разыскала общежитие...

- На подножке – это как?

- Я стояла на ступеньках, за поручень держалась. Там же ведь...

- И всю ночь так?

- Нет, я так, наверное, часика два только ехала. Значит, с мужиком-проводником я договорилась – уже опыт из Сибири есть, – что мне обязательно нужно ехать, что я сзади. А это мне уже сестра сказала: ты скажи, что будешь ехать сзади на этих ступенечках, а что он тебе потом откроет. А он забыл. Я еду и еду, еду и еду, у меня уже... А дело уже – конец сентября – 1 октября, ночь, холодная уже, заморозки, я вижу уже, что руки замерзли, я терплю, а потом уже руки у меня судорогой сводить стало, и слабость. Я чувствую уже... А мои вещи так между ног стоят. Я так держусь за поручни, и думаю – что вдруг у меня так на секунду ослабнет, я же слечу. И я начала стучать, начала стучать, стучать, он бежит, вспомнил. Говорит: «Ой, да ой, забыл я, забыл я про тебя, давай, заходи». Затасил. Ну также всё, там пол-литра ему дала, деньги отдала, он мне купил билет, я доехала. Пошла искать документы. В деканате сказали – они, говорят, у ректора. Я пришла к ректору, и говорю, что мы вместе с подругой, ей пришел вызов. Он говорит: «А уже мест нету. Ну, вам все равно уже, вы так далеко отъехали от дома, может быть, вы до Омска доедете?» А я точно знаю, что места есть. Ну я вижу, что стена, не пробьешь. А у него лежит моя автобиография, и сам смотрит на ту галочку... Я послала эти же документы: автобиография, мой аттестат с отличием, как было в конверте после 1-го Медицинского, так

же и послала. и он там смотрит. Я и поняла, из-за чего меня не принимают. Ну, говорю, хорошо. Он говорит: «Возьмите документы». Я взяла документы. Вышла и решила: никуда я не поеду, буду здесь учиться. С Надей мы решили, что мы будем на одной кровати спать, все по-детски как-то, а там будь, что будет. А ведь надо иметь карточку, а карточку имеешь, если ты студент. Еще занятия не начались. Еще почему решила остаться, было собрание вечером. Перед нами выступали профессора, объясняли, кого они готовят, какие здесь силы, какие лаборатории. Все это я как-то так прослушала, но меня особенно за живое не задело. А потом выступает заведующий кафедрой марксизма-ленинизма. Надо сказать, что я эти науки любила, такая склонность у меня к философским наукам, да. И когда он начал такие патриотические слова говорить, что как стране нужна будет ваша квалификация, помощь, что мы дадим вам все, что нате вам знания, учитесь, спасайте людей. Очень у меня так загорелось. Ну, ни за что, я только здесь буду учиться. Лежу я в большой комнате, где нас 18 человек, все разбежались, у них заботы никакой, ничего, они приняты. А я лежу на диване и все так раскидываю умом-то, что как, что будет в крайнем случае, ну что, в милицию-то не отдадут, посмотрю, что будет, буду ходить на занятия. Вдруг заходит комендант. О! Никого нету. И говорит: «У тебя хороший почерк?» – «А что?» – «Да надо всех записать в книжку, для прописки, паспортные данные все выписать. Надо ж вас, говорит, прописывать в общежитие-то». Я говорю: «А давайте, давайте, у меня хороший почерк». И сунула туда свой паспорт. У меня сразу эта мысль криминальная мелькнула. А я уже прописана, все, в общежитии, и значит мне карточку дали. У меня только что кровати нет, так мы с Надей на одной спали. Нам было не тесно совсем. Я стала ходить на занятия, а поскольку Надя уже была прикреплена к группе, то мы подошли к старосте группы, я говорю, что меня тоже к вам направили. И она меня записала. Я стала ходить и ходить, и учиться, и так и кончила. И что я там в приказе не числилась, никому это не пришло в голову проверить. Так я пролезла в институт. Потом также в аспирантуру пролезла. Такие пироги. – А в 1937 году в Пестове много репрессированных было?

– В Пестове не так много. Знаю, Муся Виксна, она латышка, поэтому ее по фамилии тогда. В Пестове большинство приезжие, рабочие, интеллигенции там было мало. Не было такого повального. А после войны, в 1947 году ведь вторая была волна репрессий. Всех, кто сидел после 1920 года, хватали. А мой отец ведь сидел, с 1929 по 1932. И его тоже арестовали. Да, его второй раз арестовали. Но недалеко отправили. Написали чего-то там, за нарушение какой-то дисциплины финансовой, еще чего-то – и он не понял, и мы не поняли, мы ничего не поняли. Мы поняли только что коль ты кулак, так и молчи, и отбывай срок, и не вякай. Дали ему еще три года. Направили его под Ленинград, есть какие-то ведь тут колонии. А потом отобрали специалистов-плотников и направили овощехранилища строить в какой-то колхоз, ведь после войны мужиков в деревне не было. У него уже срок там кончался. А я была на каникулах дома, мама дала посылку ему хорошую: «Отцу-то свежи». И я ездила к нему. Но он опять там, Господи, был бригадиром, строил. Надо было о чем-то поговорить, а он все рассказывал, что такие лентяи, что не хотят мужики. «А ведь понимаешь, ведь если там чего-то не сделать, все тут стгниет» – так объяснял. У него кончился срок где-то в августе, а он домой не приезжает. Написал маме письмо; «Я должен закончить овощехранилище, а то эти черти вшивые все там испортят». Такие кулаки. И жил еще там месяц опять у какой-то старухи там за занавеской, пока не сдал все. Сказал: «Бабушка, я тебе пришлю деньги, рассчитаюсь, только у меня сейчас-то нету». Только приехал, жену отозвал: «Бабке надо деньги отослать за квартиру». Тоже второй срок отбыл. И отца моей

этой подружки, Нади, тоже арестовали и тоже какой-то, ему небольшой срок дали.

- Ведь спускали план: столько-то надо посадить в Пестово. Ну вот и набрали. В первую очередь тех, кто уже сидел, во вторую – те, у кого рыльце в пушку. Надиного отца тоже забрали. Девять человек детей семья была, восемь дочерей, один сын. И забрали, отослали... Тоже где-то был недалеко от Пестово. Пестово же маленькая такая станция, сейчас-то немножко подрасстроилась. А так была маленькая, так что таких-то репрессий-то... Муся, латышка, единственно, с нами вместе училась, так и узнали, что отца посадили, а других как-то... Вот мой отец еще такое дело сделал. Как началась война, и стали эвакуироваться люди, и гнали через Пестово стада скота, скот некоторый погибал. До войны был пункт, где можно было сдать шкуру, и государство выделяло. А тут началась война, сразу, раз, и все закрыли, никого. Ну как же – это же ценность! Кожа! А отец-то мой кожевник. Он пошел к председателю и говорит: «Давайте мы сделаем, все-то надо три чана всего, будем сами выделять, раз закрыли тот пункт». – «Давай, Головин, организуй». Я все смеялась: мой отец директор кожевенного завода. У него было три женщины и он один. И всю войну. Какие ворочали, кожи делали. А ведь они когда намокнут, они тяжелые, неподъемные. Бедные женщины... ну вроде и пользу еще делал, как, какое финансовое нарушение? Нам никто не сказал, и он не знает. Он получал 500 рублей, а женщины у него получали по 300 рублей. Контора была в исполкоме. Непонятно, не задавали вопросов. Влип по уши, так сиди и не чирикай. А то еще хуже будет.

- В 37 году только почувствовали потому, что к вам приехали вот учителя эти из Ленинграда?

- Да. Татьяна Ефимовна снимала комнату рядом и как-то с моими родителями дружила, я с ее дочкой сдружилась. Она жила в Острове, некоторых оттуда слали в Пестово. Александр Михайлович был на Кировском заводе в идеологическом секторе. Почему-то к нам его. Вешняков Александр Иванович, ой, какой был математик... Они ходили по-другому, разговаривали по-другому. Они отличались. Это все еще люди, которые получили образование при плохом царе, понимаете? Я помню, учительница у нас в 4-м классе, Анна Андреевна. Она маленькая ростом, с меня, наверное, как я сейчас, платье длинное носила. И тогда мы не понимали, видимо, и корсет у нее был. У доски вот так стоит, и сядет (показывает)... А в быту держалась очень просто. Весной, летом она все говорила: «Девочки, приходите ко мне, я на Ферменном живу». И мы к ней ходили компанией. Она пойдет белье полоскать, мы ей белье помогаем полоскать, воду таскать – так день и проводим с ней. Спрашиваем: а как это вы так все время ходите? Она говорит: и вы так ходите, вы же будете дамы, дамам неприлично, что это такое? У нее такая вот прическа была... «А как вы-то научились?» Она говорит: в гимназии сторбишься, учительница подойдет, большую линейку и вставит туда тебе за воротник. И ты не согнешься. Вот и все. Вот они и держались так. А потом она так привыкла, что, говорит, мне вот так тяжело, у меня все начинает болеть. Нас учили этому, она говорит, и как ноги поставить и как руки положить, нас этому учили... Для нас это было так интересно! А ведь что-то мы читали, я уже помню – Чарскую читала, мне Татьяна Ефимовна и Лена, ее дочка, вот Чарскую давали читать. Мельникова-Печерского... Там описывались девочки, какие они хорошие, как они себя ведут, нам хотелось быть такими, а ведь не знаем, как. Там же не методика, как сидеть, а что она красиво сидела, красиво прошла – а как красиво? Мы не знаем. Ну а тут живой человек, она нам все показывает и рассказывает. Как за столом, как вилку взять, ложку, она начнет нас угощать и... Анна Андреевна просто прелесть была. Я вот четвертый класс

кончила, а когда я в пятом училась, она уже преподавала в начальных классах. А вот я начала вертеться, так ей пожаловались учителя: «Ваша отличница, хваленая Головина, плохо себя ведет на уроках». И вот эта старушечка пришла в школу, а это большие расстояния, пришла в школу, дождалась перемены и позвала меня к себе – я это никогда не забуду! – у окошечка мы встали, она говорит: Тоня, ну неужели ты правда себя плохо ведешь? Я, конечно, голову опустила, помалкиваю. – Мне когда сказали – я не могу представить!.. А я у нее как мышка сидела... – Я даже не могу представить – Тоня могла плохо себя вести! Я тебя очень прошу, ты девочка толковая, пожалуйста, не мешай учителю, ведь это очень тяжело преподавать. Вот так с нами разговаривала. Мне так было стыдно, мне так было стыдно! Это меня очень сдерживало, конечно, подшаливала все же, но не так. Это очень сдерживало. Вот такие у нас учителя были.

- А родители что-нибудь говорили о Ленине, о Сталине?

- Боже избавь! Мама моя сказала так – она верующей была, она сказала: ребята, вы как хотите – она нас не принуждала – я уж как меня учили, я буду верить в Бога, а вы уж как хотите, как у вас там в школе учат. Не-е-е. Что вы, да разве можно? Еще, когда Толя, это там, может, в девятом там классе, может, в десятом – вот так, хвалят все учителя, а он однажды матери нашей вдруг сказал: «Мама, я буду вторым человеком после Ленина». Так мама испугалась! «Да ты что! Как это можно говорить?...» А Сталин-то, гений? Как это можно говорить? Про Сталина... Понимал, конечно, он очень грамотный был. Вот такой был, Головин. Чего-нибудь бы было из него... Толковый, очень. Нет, в этих маленьких городках мы не чувствовали массовой резни, а отдельные только эпизоды. Конечно, в больших городах, вон, мне рассказывала Екатерина Николаевна, в одной лаборатории, она на Кировском жила, недалеко от ДК Ленсовета. Она говорит: как ночь, так и слышишь, начинают ездить эти воронки, хлоп дверью, смотришь, в какую парадную пошел. Она тогда говорила, что, боже мой, надо же, не смели ни возмущаться, ни восхищаться, а как послушаешь, при Хрущеве начались такие разговоры... Знаете, ничего насчет политики в семье родители никогда с нами не разговаривали. Вот единственный случай, когда Толик так сказал, а еще мама сказала: «Не забывай о Сибири». Это она ему сказала, когда он в 6-м или 7-м классе учился. Конституцию тогда, в 1936, выпустили, и такой лозунг был: «мы в основном построили социализм», в основном построили. У Толика был урок истории, а он встает и говорит: «А как же мы построили социализм, а у нас около каждого магазина нищие? Нищие и социализм несовместимы». Сформулировал так.

- А где же были нищие у каждого магазина?

- В 37 то? Да еще как! Ой, много нищих было, что вы! Это потом, после войны запретили...

- Это в Пестове?

- В Пестове. Нищих много. Вот купишь хлеб, какой-то довесочек, уже не прячешь, идешь и даешь. Ну так, боязливо, конечно, не так, как сейчас они себя ведут...

- А кто это были?

- Да какие-то старушки одинокие, не пьяницы, как сейчас, нет. Или старичок какой-нибудь один остался, нету помощников. Были нищие. Ну так вечером, в этот же день пришел этот учитель к родителям. Меня тут же выгнали, конечно. Толя не было, он в библиотеке сидел, все газеты пока не прочитает, домой не приходил. А мне сказали: иди погуляй. Я должна была исчезнуть молниеносно, без всяких разговоров. Я ушла, смотрела, когда учитель вышел, я зашла домой. И мама рассказала в назидание мне, чтоб я не смела такое. Когда Толя пришел, она ему тоже сказала: «Ты вот там много читаешь, больно умный, так ты язык держи за зубами. Вот приходил учитель и просил, чтобы я с вами побеседовала,

чтобы ты нигде никогда ничего не говорил» Испугался, конечно. И сами учителя были... Поэтому они сочувственно относились. И с тех пор все, Толя такой тоже, в комсомоле был. Я еще забыла, у меня была еще такая в школе обязанность – доклады делать. На каждый праздник – на май, на восьмое, на ноябрьские – политические доклады. Мне дадут книжки и говорят: вот, составь. А потом исправят, конечно, меня. Расскажи, вот почему это празднуется, вот то-то. Я перекатаю там, еще какие-нибудь свои примеры приведу. Или у меня голос еще зычный был, не знаю, почему. Также как моя дочь в школах тоже все время доклады делала, это генетика, видимо, уже сработала. И Толя так же, все с докладами выступал, самостоятельно, и я за ним. Вот так мы и жили. А сейчас, когда мы собираемся, мы удивляемся – как это мы все пережили? Не утратили еще какой-то человеческий облик. Ведь можно было вообще, опсихеть.

- А чем-то дружба и связи человеческие во время войны отличались?

- А вы знаете, как помогали друг другу? Да. А ведь вот эти же эвакуированные – их привезли целый эшелон. Наш поселок-то невелик ведь был. Всех рассовали. И нигде никогда не было недоразумений, чтоб кто-нибудь пожаловался, что там меня хозяйка обижает, или... даже в ум никому. Вот как мне рассказывала мама – поила его, лежит совсем, только что, ложечку, ложечку пропустит молочка – подняла на ноги старого больного человека. Дистрофик совсем был. И они все были по разным домам.

- А как его звали?

- Георгий Кузьмич Соловьев. А между прочим, он до революции работал в шляпном магазине продавцом на улице Рубинштейна, тот магазин сейчас, не знаю, есть, а до войны он все время был на улице Рубинштейна. И этот магазин, как бы, снабжал, обеспечивал шляпами дворец, приезжали.

- Императорский двор?

- Да, так он рассказывал, что, говорит, я еще молодой был, как только подъезжала карета из дворца, так сразу выскакивал старший продавец, в белых перчатках, все там – коробки, заклеивалось, подавалось, все это с такой помпой, вот и... Он очень был мягкий, очень обходительный, сама, во-первых, видимо, так уже работа его обязывала, потом, вообще эти, те старые петербуржцы, которых теперь уже нет, и которых я многих очень знала – отношение, обращение, когда я приехала, даже вот едешь в трамвае – в 44 году я приехала, еще все такие после, и все равно это такое было деликатное отношение, по отношению к друг к другу. Сейчас так вот даже и нельзя сравнивать, это оскорбить можно память ушедших. Так что люди точно добрее стали. Вот не ожесточались, вот чего-то было, как вот теперь – такое время, что все же вокруг начинают хамить, рубить... А во время войны было, по-другому люди относились. Ленинградцы эвакуированные, как их встречали! Как их жалели! Как их угощали! Ведь тут они наголодались, вдруг приехали – Боже мой, там чуть ли не творожок, или что-нибудь, девочка молоденькая была – так что война, по-моему, выявила лучшие стороны жизни.

- А скажите, было ли такое ощущение, что в войну вы чувствовали себя свободней? Более свободной?

- Прямо – нет, а вот так рассказы – были. Вот лично при мне как-то не было, а вот такие рассказы-то были, что что-то там кто-то сказал, так так сразу ополчатся. Может быть, и эти стукачи были, я не знаю, может и порывы... как наша вот Полина Ивановна эта была, все такой правоверный член партии, конечно, она это могла говорить очень искренне.

- Так вопрос еще есть – было ощущение, что в войну немножко свободнее стали вы жить? Как-то что-то перестало давить?

- А вот чего я вам скажу, чего во время войны было... Было, во-первых, большие трудности, и мы переносили безропотно. И не из боязни, что

что-то будет. А вот понимали, что надо это пережить. И второе – ведь к нам буквально сразу, в 1941 году, уже вот тут, в июле, в августе пришли эшелоны с военными, с ранеными. И все четыре школы были заняты под лазареты. Мы ходили, их развлекали, концерты давали. Военные с нянечками, с сестричками разговаривали. Они говорили, что после войны колхозы распустят, и будет по другому жизнь, легче. Вот мы и старались, и голодали, и держались.

– Это военные говорили?

– Да. А у меня приятели, к сожалению, оба умерли, жили в Стрельне, оба фронтовики. У одного, Андрея жена была из Пестово. Ее отца, тестя Андрея, хотели раскулачить, догадался он написать Кирову, что имеет он пять человек детей, что хозяйства хватает только прокормить их, не кулак и никого не эксплуатировал, и Киров написал, что отменить. И ему разрешили уехать в Пестово и вот он так работал, по сути, по духу тоже был кулак. Так вот воевал он в аэрополку, не летал, на техобслуживании самолетов, и поэтому он остался жив. Андрей говорил, что перед тем, как начать наступление на Берлин, их комиссар им сказал, что Жуков (может еще поэтому Жуков попал в опалу) сказал публично летчикам и красноармейцам эти же слова: после войны колхозы распустят, народу землю дадим, будем жить хорошо, надо добить врага сейчас. Вот умер он три месяца тому назад, он бы это подтвердил. Я не вру это.

– А то, что церковь возродили во время войны, вот мама Ваша что-нибудь говорила?

– Ой, как она радовалась! Я уже кончила Педиатрический институт, вышла замуж за ленинградца осталась здесь работать, и она ко мне приезжала раз в году. Она службы все знала на память, очень хорошая память была, и потом – брат священник, она часто ходила молоденькой, до революции в церковь, поэтому она все праздники и службы знала. И она приезжала, чтоб в церковь сходить. Придет и говорит: «Ой, какие сталинские попы хорошие! Как они все правильно делают! Ведь раньше, бывало, заспешит, заспешит, какую-то молитву пропустит... Не очень тщательно, разные были. А эти, ну все-все, тщательно ведут службу». Она так и говорила: «ой, сталинские попы очень хорошие». (смеется) Была очень даже довольна ими. Поживет денька два-три. Ну, это правда, они же боялись, конечно, кругом стукачи. Если чего-нибудь он там где-нибудь в службе пропустил – моментально настучат. И она придет всегда такая убоготворенная, что уж такая служба хорошая была, все-все так, да все ясно, хорошо. А то, говорит, у нас забормочут, забормочут какую молитву – ну ладно, она знала, что он бормочет. А другие-то не знают ни слова. А здесь все так медленно, хорошо. Хвалила, хвалила «сталинских попов» (смеется)

Во время войны очень давила пропаганда. Все были просто зомбированы. Вся печать, радио все время нам внушали, что немцы – это такой враг, который идет, чтобы просто уничтожить весь народ. К немцам такая была ненависть, хотя она появилась не сразу, я помню такой эпизод – у нас уже появились военные, буквально в первые дни войны. Я работала в пионерском клубе, чего-то там в библиотеке, кого сразу же взяли на фронт, нас всех совали всюду. И пришел военный из морской пехоты что-то почитать или что-то спросить. А я ему предложила какого-то немецкого писателя, не помню. Как он швырнул книгу: «Да что это вы мне фашистов даете!» Я говорю: «Да это-то не фашист». Я начала за немцев как за нацию заступаться, ведь нам же столько эти немцы хорошего сделали: и философы, и поэты, и так далее... Еще в начале войны заступалась. А потом так это нам внушили, я помню, как во время войны и когда уже когда кончилась война, у нас в Пестове появились пленные немцы. Их рассылали везде, они все занимались строительством. И одна девица из нашего класса роман завела с одним из немцев, и еще нам

рассказывала, что он ей подарил шариковую ручку, тогда «вечное перо» называли, у нас их еще не было. Вы знаете, мы же с ней перестали разговаривать, мы же прервали всякую связь. «Как ты можешь с таким лютым фашистом?!» Может быть, он и не был очень лютым фашист... Ужасная злоба. Такая деформация...

- Это вот, вы считаете, влияние пропаганды военного времени, да?

- Конечно, конечно. Да вы же не представляете, как только в шесть утра включалось радио, так начиналась вот эта пропаганда. С таким пафосом читали актеры очень-очень хорошие, тот же Симонов: «Убей, хоть одного убей!» Вот это стихотворение, меня немножко оно даже коробило, думаю, надо, ну чтобы поэт вот такое писал. И все время всякие статьи, какие случаи, что уж такие они лютые звери, как мы их должны ненавидеть, как мы должны стойко стоять и защищать себя и так далее. Ну а потом, конечно, из чувства патриотизма... А у нас большая патриотическая работа проводилась. Здесь они правы были, большевики. Уж не говорят там - на уроках, на любом уроке, на всяких там пионерских, комсомольских - красной линией шло, вот наша Родина, на страна лучше всех на свете, и что мы вот должны ее, не знаю, как, защищать...

- Но сначала же, до войны, вас вот должны были воспитывать интернационалистом?

- Да. Но Россия - лучше всех.

- Россия - русские? Или как?

- Нет. Советские. Народ. Русские тогда нет, тогда был советский народ. Ни-ни-ни, Боже упаси. Боже упаси. Вот теперь стали - я долго привыкала к тому, что стали все «русские» говорить. Не говорили. Первым же Жириновский это сказал, и я вздрогнула. Думаю, надо же, как это? Не было. Только советский народ был. Мы вообще все были братья, и все были советский народ, и все ужасно друг друга любили. По крайней мере, мы так были настроены. Я помню, первый раз в Баку я поняла, что они-то нас не так любят, как мы их. Одна женщина говорила: «Вот, понаехали, как подходит сезон...» А мерим-то мы всегда на свой аршин. У меня никогда не было отрицательного чувства к другой национальности, не то, чтоб себя похвалить, но я рада, что у меня никогда нет, это как врожденное, может быть. Главным образом, тут мама много сыграла, поскольку она была верующей... Вот я вам интересную вещь расскажу: я жила вот в такой провинции, у нас, например, евреев не было там. И я уже была, наверное, в седьмом классе, у нас появился один еврей, мужчина, без семьи приехал, Иосиф Моисеевич, жил по соседству, занимался заготовками, ходил там по деревням, клюкву, сельскохозяйственные продукты собирал и куда-то там отправлял. Была такая контора. Он очень подружился с моими родителями, приходил, чай пили и так далее. А мама его как-то особенно так встречает, как увидит в окно: «Ой, ой, Иосиф Моисеевич идет...», выбегает на крыльцо. «Мама, спрашиваю, - а чего ты так? Он просто такой, никакой там себе, не профессор, ничего». Она говорит: «Да как же, ведь Иисус-то Христос тоже евреем был». Понимаете? И у меня вот такое чувство сохранилось. А отсюда и ко всем нациям. Вот мама даже цыган тоже любила. А отец, правда, очень не любил, что они не работают. Вот в нашей глубинке вологодской, у нас же там никаких наций-то не было, одни русаки. У нас не было, не стояло национального вопроса. А когда я приехала в институт, нас было на втором курсе двадцать человек, потом на третий курс нам нужно было разделиться, потому что клинические дисциплины и разделить курс. Я посмотрела - десять евреек и десять русских получилось. А почему так - одна еврейская девушка Лена с нами была. А почему так? И я почувствовала вот какие-то намеки, чего-то такое. Я разобраться не могла, я со всеми дружила. Я к евреям очень хорошие чувства имела Из деревни приехала, как мне было интересно! А после Иосифа Моисеевича стали приезжать к нам перед войной в 1939-1940 году

дачники, и тоже евреи, девчонки (там фотографии есть – я с ними). Как я с ними задружила – куда там! Очень интересный народ, начитанный такой. Поэтому для меня было не очень понятно. Вот советский народ – это все, хоть татары, хоть мордва, хоть кто – ну все мы советский народ, и все.

– А скажите пожалуйста, вот когда антисемитская компания началась – вы это помните?

– А как же! Это вот дело врачей, я как раз работала врачом участковым, и ходила по вызовам. Это когда первый раз я не поступила в аспирантуру, я год работала в поликлинике. Прихожу на вызов. Еврейская семья, встречается женщина встревоженная, у нее девочка, ангина тяжелейшая, температура сорок. Посмотрела, сделала назначение и говорю, что завтра вызывать не надо, ангина, высокая температура, я сама приду. «Ой, спасибо!» Она предложила мне: «Не хотите ли, у меня рыба фаршированная». Я так немножко застеснялась. Она говорит: «Не стесняйтесь, я знаю, что вы же ходите голодная, у вас тяжелая работа». Я села, первый раз попробовала эту фаршированную рыбу, потом я сама хорошо ее готовила, научилась. А как раз вот эта вся свистопляска началась с врачами. И вдруг она делится со мной, что вот как нам тяжело, подумайте, ведь если там врачи, так ведь и нас тут же начнут прижимать, тоже цепляться. И я так сочувствую, конечно, ей, это что-то неправдоподобное, мне как врачу слышать, чтобы врач чего-то там вредил еще, мой ум провинциальный не мог себе этого представить.

Поблагодарила за чай, за рыбу, ушла. На второй день я прихожу, она меня так же хорошо встречает. Потом я уже ухожу, она так застеснялась и говорит: «Доктор, я рассказала мужу, что вот у нас теперь новый участковый, как я с вами поговорила, а он сказал: ну что ты, она же русская, чего ты с ней так разоткровенничалась?» Я говорю: «А какая ж разница?» Так и хотелось сказать: русская, я сама испытала уже, то чего вы боитесь, я уже там была в этой Сибири. Ну, нельзя же было такое сказать. Вот у меня совершенно одинаковое отношение, я этому очень довольна, потому что мне это очень помогало в жизни. Эти мелкие распри какие-то там были в группе у нас – неправильно, нехорошо.

– А что было в группе?

– Вот, например, так: пошла сдавать. Ассистент принимает и профессор. А к профессору идти боится, пойду к ассистенту. Пошла к ассистенту, получила тройку: «Ой, а Бася Рудницкая у этого ассистента получила пятерку». – «Так это она своим ставит пятерку». Ну что это такое? Позор! Не хочу я это вспоминать.

– А у вас таких проблем с преподавателями не возникало?

– Абсолютно!

– Вы хорошо учились?

– Да, я хорошо училась. Я везде хорошо училась, и как-то меня вот любили все. Не знаю, почему, но меня все преподаватели любили, ассистенты. Я как-то всегда всем помогала чего-нибудь, и я не ленилась там сбегать там еще что-то, и ко мне хорошо относились. Это я могу сказать.

– Скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что с проблемой национализма Вы в войну первый раз столкнулись? Само выражение «русский народ» оно тогда прозвучало?

– В войну русских не выделяли, тоже все советские люди были. Но когда кончилась война, и Сталин выступил с речью, где-то там на банкете... Этот вопрос мне еще попался на госэкзамене – речь Сталина на приеме...не помню. Он первый раз сказал: «Спасибо великому русскому народу, который всю тяжесть, либо большую часть взял на себя. Спасибо великому русскому народу за все страдания, другой бы народ мог сказать: вы плохое правительство, уходите!» Вот у Сталина есть такие слова. А вот

русский народ терпеливый, он все перенес – тогда немножко зашумела интеллигенция, немножко стали иронизировать: «великий русский народ», а все остальные? Чего он так сказал? Вот, единственное... И потом опять «советский народ», «советский народ»... И я говорю, что когда Жириновский первый раз он когда баллотировался, начал говорить «русский народ», резало ухо, это было непривычно. Уже советского народа нет, а еще к русскому как-то... По-моему, это ни к чему все. Мне больше нравилось «советский». «российский» – пусть так называют. Ну как тут разделить, если у папы моей правнучки бабушка еврейка. Мы насколько спаянные!

- А скажите, если говорить о войне – вот война, она как-то повлияла на ваши взгляды, что она изменила?

- Вы знаете, что – вот я это хорошо помню, как... вот, начнем – какие мы были до войны. Конечно, мы несвободно себя чувствовали. Вот вам трудно представить, что, скажем, мы с вечера занимали очередь, чтобы купить какие-нибудь тапочки. И всю ночь стояли. И никто никогда не ворчал – что вот, дожили мы тут... все боялись. Не потому что они это, им это было приятно, не было этого. А... и поэтому, когда началась война, понимаете, как бы вам сказать – уж если мы тогда не роптали, как бы из-за боязни, так когда началась война, вот все эти... сразу вот – голод, вот эти беды, вот как-то люди, как вам сказать – они переживали, но никого не винили в этом вот, понимаете? Вот не было, что – вот, вот-вот, у меня там вот, троих сыновей взяли... Вот как будто это так надо. Вот так относились – какое бы не было там постановление, решение – вот так и принимали, что это так надо. Вот это я вот как-то вот кожей чувствовала. Никакого ропота не было. Вот настолько все как-то так боялись, и все хотели, очень хотели победы. Вот это точно. Поэтому это все оставалось на втором, на десятом плане. Недаром же это было, то период, помните – хоть лишь бы не было войны. Вот настолько, война была тяжелая, и настолько мы были уже этой войной сыты и понимали, какая это беда, что вот много лет спустя, в шестидесятых годах еще говорили, и вы, наверное, помните – да, лишь бы не было войны.

- То есть не было ощущения, что жизнь вдруг стала свободна от страха арестов?

- Были случаи все равно. Нет, нет-нет. Жестче я говорю, что... Это как-то шло под флагом, что военное время, стали ссылаться уже на военное время, если раньше говорили, чуть что – а, ты против советской власти! А теперь – а, ты не веришь, что, там, в нашу победу или что... под этой уже маркой. Ну нет, было строго. Строго-строго было. По улицам ходили, очень... дежурили. Какая-то как вот какая-то военная дисциплина, все. А голод, ни черта нету – об этом, это только в жилет друг другу тетки поплачутся, а что бы где-то что-то – все, только мы за победу и все готовы были сделать. Куда ни пошлют, куда ни пошлют, мы десятый класс кончили, то нас эвакуированных провожать, это пешком идешь, детей там, на лошади – двадцать километров, в какую-то деревню. То нас послали на завод на лесопильный, пошли, мы все там тоже работали. Какая-то такая была вот именно какая-то организованность, скованность, все слушали. Дисциплина была и послушание. И не роптали, народ. Только думали, потому что когда такая угроза, и уже тут не до каких-то своих мелких забот. Очень боялись. И очень боялись – придут немцы. И, конечно, это нагнеталось, потому что такие вещи рассказывали, Зоя Космодемьянская – я помню эту фотографию, мне никогда не забыть молодая девушка, я ехала в трамвае и увидела, сама не читала – крупным планом молодая девушка, вот так петля на шее у нее, грудь открытая такая, какая-то истерзанная вся, она в синяках вот в таких, Зоя. Ну так как же – это, конечно, был страх великий перед немцами, очень боялись. Вот хорошо у

нас в Пестове так и не было немцев. А ведь очень боялись. И эти эвакуированные закрыв глаза бежали куда-то, только подальше.

- Хочу уточнить о причине второго ареста отца. Что сам он говорил об этом?

- Во-первых, Таня, никогда мы ничего не узнаем. С них брали подписку. Я вот видела, когда они уже в колхозе строили вот это овощехранилище. Когда отец вернулся после второго срока, естественно, пришли его навестить. Я была, мама, еще кто-то из хороших знакомых, сестра моя была. По случаю встречи выпили по рюмочке, и один мужчина отца и спросил: как там, что, как вы доехали, как чего-то?.. И он вдруг начал рассказывать подробно, как их погрузили здесь в Пестове, набили так, что воздуха-то не было... А он маленького роста, гипертоник, сердечник, не очень здоровый был, при такой работе, и еще на Соловках побывал, так что он некрепкий был здоровьем. «Как я доехал...» - говорит. Вдруг мама перебила: «Да чего это вы глупости говорите! А давайте я вам налью, выпейте!» А я так уши развесила, и думаю - а как дальше? Вот, единственное, что я знаю. А когда этот человек ушел, она говорит: «Что ты болтаешь? Ты же расписку давал!» - «Так я сам потом понял, как-то подзабылся, выпил рюмочку». Давали расписку: ничего не говорить плохого. Вот он не мог в своей среде сказать. Так что это там было все очень организовано хорошо. Уходишь, тебя освобождают, но вот учти, если хоть кому-то что-то проболтался - новый срок. Сюда же вернешься. Конечно, не будешь. А он иногда забудется, что-нибудь скажет: а вот у нас в лагере... Мама это слышать не могла. «И забудь это слово «у нас в лагере»! Сиди дома и...»

Люди, которые уже были взрослыми, перетерпели, перемучились, как-то где-то мы уже сколотились, собрались вместе, и никогда ни одного слова плохого про советскую власть в нашем доме не произносилось. Никогда. Что они чувствовали, я могла догадываться, но при нас, при детях никогда. Они боялись, мы можем сболтнуть где-нибудь. И иногда так напрямую, если что-нибудь, особенно, брат там вот у меня был такой очень - интересовался политикой и прочее, бывало, что-нибудь скажет - моментально все, чтоб забудьте, и никаких разговоров - вот так. В праздник подвыпил отец, придут гости, мужчины, тоже потерпевшие, репрессированные, невольно какие-то начнутся высказывания, а отец только всегда говорил: «черти вшивые». Вот так он называл советских правителей. Черти, говорит, вшивые. И никаких разговоров больше, боже, избавь. Потому что, конечно, мы тоже могли где-нибудь ляпнуть - дети же были, а родители для нас такой авторитет. Никогда ничего не говорилось. В крестьянской семье дети как-то отделялись от взрослых. Если приходили гости, нас выгоняли, если кто-то пришел и разговор взрослый, нас выгоняли: иди там погуляй, иди на печке полежи. И спасали детей этим. Нам не давали слушать разговоры, не то, что участвовать, что теперь дети могут, мои правнуки, например. Когда вы спросили про Павлика Морозова - ну вот я сейчас вам еще объясню, ведь очень много зависит от воспитания. Я же воспитывалась в крестьянской патриархальной верующей семье, где у нас закон был такой - на небе Бог, а на земле отец. Представляете, как буквально? Мы не говорили, как ты любишь папу, ты любишь маму, таких не было объятий, поцелуев в крестьянской семье, но было такое глубокое обожание родителей, послушание. И такой поступок Морозова - это у меня и в голове не укладывалось, и кроме как неприятия, другого, конечно, чувства не было.

- А в 1956 году о реабилитации не поднимали вопрос? Реабилитации по первому аресту?

- Нет.

- Нет? Даже мысли такой не возникало?
- В 1956? Нет. Это вот уже когда я к вам [в «Мемориал»] попала, мне тут открыли глаза, серой массе. А так бы я, наверное, и не знала.
- А в каком году он умер?
- Мама умерла в 1955, а он через два года, в 1957. А я в 1955 как раз защитилась.
- А вот когда начались разоблачения сталинщины, что вы думали, что переживали?
- А вы знаете, что?.. Вот лично я очень радоваться боялась. Вот как хотите, так меня и судите. Вот чего-нибудь заподозрят...
- Боялись публично радоваться?
- Да...
- А про себя?
- Ну конечно, конечно. Я имею в виду публично. Ну конечно... А у меня же муж бывший тоже был, недорезанный – у него отец был контр-адмирал. В 1917 году его прирезали, на юге где-то. Он поехал ревизовать, или как там это называется, корабли. И там его прикончили. Он не видел отца. И он родился в 1917 году. Да, это-то мы обсуждали. Знаменский, этот мой муж, потом-то ушел от меня. Не выдержал – ученая дама. Как он радовался, он как ребенок радовался. Потирал руки – вот оно... Радость была.
- В каком году вы поженились?
- О, я еще на четвертом курсе училась [1947]. Везде успевала. Я-то теперь понимаю, почему он ушел. Потом даже прочитала, что есть мужчины, которые не могут смириться, если жена выше. Он рядовым был инженером на заводе Ленина, со слесарями имел дело. Когда он уходил в отпуск, вместо него оставался слесарь. Спрашиваю его: «Я вот не понимаю, я врач, когда я ухожу, я не могу медсестру оставить, а как у вас слесарь остается?» И, видимо, это его немножко заело. И еще когда я защитилась, так ничего, а когда я уже получила старшего звание, там, он еще встретил своего приятеля, а тот врач, военный медик, а у нас там была конференция, и я делала доклад. И он меня вычислил: Знаменская – не Георгия ли это жена? А потом спрашивает: у тебя вот кто жена? Вот там, физиолог. А так, значит, она доклад делала. Знаешь, она толковая, она пойдет. Наверное, это его очень... Есть такие люди, потому что если настоящий мужик, так и конечно, обидно. Козьявка какая-то приехала, понимаете, из деревни и полезла куда там, аж в Академию наук. А он – сын контр-адмирала, мама у него была красавица. Ее сестра говорила: «Муся (она Анна, а ее звали Муся, а мужа этой Муси, значит вот, отца Знаменского, она не любила) была красивая. И этот Николай, он ничего особенного из себя не представлял, и если он ко двору был приглашен, так только потому, что Муся красавица». Такая психология, представляете? Это она глубоко в это верила, причем тут контр-адмирал, вот Муся была красавица. Муся была придворной дамой. Ну и вот они такие две придворные дамы, еще бабушка у нее была, воспитывали – так что конечно, у него такое отношение было. Когда я еще работала участковым врачом, меня направили, дали путевку в университет марксизма-ленинизма – я с радостью пошла! А что, я кончила учиться, там ходи и только сестер учи, чего, мне не хватало, мне хотелось. И я когда ему сообщила, что меня туда направили, он сказал: «Хм, ахинея это все. Чепуха! Лучше бы кончила курсы портних». И вот я в силу воспитания отказалась, пришла и сказала – нет, я не смогу, я еще и беспартийная была, начинающий врач. Я поняла, что ему это неприятно и отступила. И кончила курсы, только один, правда, курс. И обшивала потом его.
- Как муж велел, так и...
- Да. А что? Это правильно, Таня. Это правильно, так и надо. А то никакого толка не будет.

Я не смогла при первой беседе ответить про кино. Потом я стала вспоминать... Фильмом «Сельская учительница», я помню, мы были потрясены. Не помню фамилию артистки. «Выборская сторона», там Максим – конечно, это. «Подруги» был фильм, «Три подруги» тоже знаменитый. Такое что-то все героическое. А про молодогвардейцев-то я сказала – мне показалось, что вы удивились, нет? Вот это были герои.

– А смерть Сталина как пережили?

– Я так ничего, спокойно. Он пятого умер, а я одиннадцатого родила, так что я была на сносях, мне не до этого было. А ведь многие очень переживали, искренне. И боялись, как будем жить? Вот такое было именно, именно чувство страха. А как без Сталина будем жить? Ведь все вот развалится. Что в Москве делалось? Нам-то говорили, что одну какую-то девочку задавили, а, оказывается, сотни их было задавлено. Да, массовый гипноз был.

– А вы не плакали?

– Ну что вы! Нет, не плакала. Вот чего не было, того не было. Я как услышала – я шла, ехала – я до последнего дня ходила, опыты ставила, я поступила-то беременная в аспирантуру, ну вот – и вот еду, я жила угол Восстания и Невского, тут на углу, вышла из троллейбуса, перешла Невский и иду. А около Московского вокзала синий репродуктор и сообщает, что вот Сталин-то умер. Так было в первую минуту неприятно, что вот человек умер. А потом, как сейчас помню, я открываю дверь, так открываю дверь, так представляю – так, хм, пожалуй, без него-то получше будет. Так какое-то бремя как свалилось, вот так если сказать, вот лично у меня.

– А родители?

– Ой, я не знаю, они в Пестове жили, не знаю как-то...

Сразу-то после его смерти у всех было такое убеждение, что дальше у нас что-то пойдет плохая жизнь.

– Плохая?

– Именно будет плохо. Пока Сталин жив, у нас порядок. Было чувство неизвестности, а как дальше-то вот, как? Как сложится? Помню, какая-то тревога была. А одиннадцатого я родила, марта. Представляете, вот за несколько дней. Иду домой и все думаю, что ведь будут какие-то изменения, какая-то перестановка сил. А как это все пойдет? Все жили как в шорах. Знали, что только вот здесь ходить, а там нельзя, и так далее, и потом уже привыкли. Все об этом думала. Открываю квартиру. А люди как еще плакали!.. У нас была в квартире Полина Ивановна, такая очень искренняя, коммунист, так она прямо кричала, что все в жизни кончено. Мы там бегали, ее оживляли. С ней было плохо, и всякие капли ей давали.

– А много было соседей в коммунальной квартире?

– Семь семей. Совсем немножко. Семь семей, одна раковина, одна уборная, одна холодная вода и все. Так жили. Я сейчас как вспоминаю, а как мы так жили? Вот у меня была тринадцать метров комната, окно выходило под арку, первый этаж, света никакого. И нас было четыре человека: я, муж, ребенок и няня. Был проходик маленький, в котором няня ставила для себя на ночь раскладушку. Чтобы в уборную выйти ночью, надо было перелезть через эту раскладушку. И жили-то ведь не день, не два, и не неделю – четыре года так мы жили. Пока уже моя дочка пошла в садик, вернее, я бы еще держала ее, но няня моя вышла замуж, и мне пришлось дочку в садик отдать.

– А где вы няню нашли?

– А няню мне мама прислала. Когда я родила, муж дал телеграмму, мама уже примерно знала сроки. Опытная, она уже приготовила окорок, телячий, свой – это только один раз в жизни поест, так на всю жизнь

запомнишь, это уже не описать. Одно могу сказать – что, у нас корова была всегда у отца, где бы не был, только в тюрьме он не имел корову, всегда, без коровы и поросенка не представляли жизни. Теленка кормили две недели только молоком, даже воды не давали. Такого теленка потом закалывали, потом засаливали, и в печке в тесто замазывали и жарили, пекли, не знаю, как назвать этот окорок. Это сказка. Так у нее уже и окорок был приготовлен к этому дню. Вот, и она приехала уже с няней. Привезла мне такую девочку Зину из деревни, лет четырнадцать было Зине, она кончила пять-шесть классов, семья большая, надо было помогать, и мать с удовольствием ее отпустила – боже мой, в Ленинград, ой, это – все равно как... На второй день я после родильного дома я уже поехала опять свои опыты ставить, не могу же я... Ну вот... вот вам смешно, да? Вот такие бывают дураки. И мама посмотрела. Я утром покормила, перед отъездом, не рано надо было, к десяти примерно, к одиннадцати, пока детей покормишь, пока что я сцедила молоко, оставила, все, в рожки, показала, как – мама проследила, как тут Зина будет кормить, ну и там к каким-то четырем часам я уже приехала. Но спать-то уже негде, муж уходил к своему приятелю, потому что мы с мамой на этой кровати спали. Вот мама один денечек посмотрела, сказала, что Зина ловкая, и пеленает, и ребенка берет, и уехала. Девчонка, действительно, была очень толковая, ловкая, хорошо мне было с ней. Мы вместе уехали в отпуск, я к себе к маме, она к себе к маме, уж нам надо обратно ехать. Зина приходит, с Олечкой посидела, полялякала, я спрашиваю, когда билет брать? Она говорит: «Знаете что, Антонина Николаевна, посмотрела я на вас, вы вот старая баба, а учитесь. А я-то что, молодая девчонка, не учусь? Я учиться пойду». Я и растерялась. Говорю, хорошо, конечно, но ты бы хоть пораньше сказала. «Да найдете, любая поедет». И подыскали – Нину, красавицу такую, русскую, пятнадцать лет, с семи лет в няньках, больше меня понимала и знала – молодец.

А потом к соседке вернулся брат мужа из армии. Ну, у них с нашей няней Ниной моментально вспыхнула любовь. А у этого парня комната в Ломоносове маленькая, мать умерла. И моя Ниночка прямо с комнатой, и так до сих пор, у них тоже двое детей, она первую девочку Олей назвала. А в детский сад не принимали, очень сложно было устроить, потому что все перегружены детские садики, по тридцать человек было, и принимали только низкооплачиваемых, а у меня две тысячи была зарплата. Только горздраве, став внештатным лектором по высшей нервной деятельности ребенка, мне удалось устроить дочку в садик.

– Сколько лет вы прожили в коммунальной квартире?

– Я как-то считала, с 1947 до 1953 – это шесть и еще пятнадцать – это будет двадцать два года.

– Все в одной квартире?

– Нет, ой, что вы, – с моим характером? Я переезжала – вот это седьмой переезд у меня. А так я все переезжала – хоть на метр побольше найду, но я искала не так побольше, как светлую. Потому что почти четыре года ребенок у меня в темной комнате, как – вообще как она еще выросла, я удивляюсь. Так физически именно она крепкая, ничего. Я хотела света – мне лишь бы светлую комнату... Так 22 два года я прожила, потом я въехала не ах, какая была, но отдельная, это тоже было очень глубокое переживание, надо вам сказать. Вы знаете, какое чувство – входила в свою квартиру, закрывала и там еще, это старые дома, такой кряк был большой, и так закрывала на кряк. И я сразу отдохнула. Вот и шла усталая там, не знаю, голова шумит-болит, только положила – и мне так хорошо. У меня все боли проходили – все, я дома, я одна, а больше никого нет. Я тяжело переносила коммуналку, потому что я росла-то не в коммунальной. Я росла все же в отдельном доме. И мне вот очень было

сложно. Все время внутреннее такое нужно было иметь тормоз и держать его.

- Но с соседями не конфликтовали?

- Нет. Мама учила, надо уступить и отойти, и все. Это уж мамин характер - мама всегда очень хорошо жила с соседями, и это правильно.

- А вот в той квартире, где соседку пришлось откачивать от истерики после смерти Сталина - вот там какие-то особые были отношения с соседями? Вот расскажите о жизни там.

- Все боялись эту Полину Ивановну. Она у нас была квартуполномоченной, была такая должность, и командовала нами, и давала указания, ну я, конечно, чего - из общежития я все это выполняла, и у меня с ней никаких трений не было. Но однажды был такой случай: исполнялось семьдесят лет Сталину. А это было воскресенье. Может, это так притянули - все может быть. Ну и так все торжественно, по радио, все такие речи, музыка, поздравления, письма, телеграммы - родной, дорогой, великий, гениальный - все там было. А я захожу на коммунальную кухню и начинаю стирку. Вот тут Полина Ивановна такую мне отповедь дала: как я, советский врач, я же не дворник, а врач, могу постирушками заниматься какими-то, когда сегодня день рождения Сталина. Я попыталась ей объяснить, что Сталин-то ведь не святой, а простой человек, это когда святые праздники, зачем же тут религию примешивать, только по религиозным понятиям есть праздники, когда делать нельзя... А сейчас-то, я говорю, как раз наоборот - встают люди на вахту на трудовую, в общем... «Вы еще унижаете советский труд, труд советский сравнили со своей постирушкой!» - вот она такая жесткая женщина была. Вот такой у меня был случай. И она после этого так - холодноватенько.

- А вы прекратили стирку?

- Конечно, а зачем... ой, да что вы! Конечно! Я даже не смыла в раковине, а прямо с водичкой все это под кровать засунула и все. До лучших времен. Но зато чем я ее потом купила - тут она растаяла. Народу много, а там было как: дежурство - неделю за человека. Там одних у нас Горбуновых было четыре или пять человек. Наконец, дошла очередь до меня. Это уже, правда, уже не первая была очередь, в первой очереди я просила там одну женщину чтобы она за меня мыла. А, представляете - прошла блокада. Во (всем мытья [так?]) не было. Пол там некрашенный, деревянный. И мыли они так - на швабру тряпку, пыль. он был черный, как асфальт, в общем, вот такой. Я нанимала человека, думаю - чего, как и все. Но потом, когда пообжилась, мне как крестьянскому ребенку так это не... А я вам объясняла, как я дома драила и вдруг я задумала: промою-ка я этот пол. Ну, что это такое мы живем - как-то пообжились тут немножко, 48 год, все. И ночью я, когда все легли спать, я начала свою уборку. Нашла и голик, и дверсту - все, надраила, причем, потихоньку, не брякая, ничего - я мыла до четырех часов утра. Кому это нужно? Там начала, может, в одиннадцать. Прихожая, коридор, кухня, уборная - все. Но когда они все встали - ахнули. Беленький был пол такой, желтенький, весь был. И в этот же день, вот такая, это для характеристики - Полина Ивановна собрала, тут же собрание жильцов всем объявила, вынесла мне благодарность, что я так хорошо убрала. Она сказала: все, надо забывать блокаду, забывать наши невзгоды, надо начинать уже нормальную жизнь, в общем, давайте вот убирать все хорошо, а, главное, что это за Маня, Тоня, Таня там какие-нибудь? По имени-отчеству всем всех называть. Ну мы сразу же перешли тут в один день, все: Анна Алексеевна, Антонина Николаевна, Полина Ивановна... Вот так мы жили.

- А какие-нибудь праздники вы вместе праздновали?

- Да - восьмое марта, вот как раз у Полины Ивановны, у нее была большая комната - самая большая была комната, метра двадцать четыре.

Они вдвоем с мужем жили. Вот, собирались – это да. Так, причем, как-то не специально, а получалось неожиданно. Каждый в своем, а потом – да чего, а давайте соберемся. И каждый несет свое.

– А вы остерегались, конечно, говорить о чем-то...

– Боже избавь! Я, вот надо сказать, что у меня была ошибка в жизни вот с этой же опять Полиной Ивановной, как я потом переживала – что-то заговорили, я не знаю, об обуви – начали покупать после войны – чешская обувь какая-то появилась, еще чего-то... Кто-то... ну как купили, в коммунальной квартире приносят в кухню, меряют, показывают, сколько стоит, дай мне померять... И вот обсуждая очередную какую-то покупку, я сказала: «Нет, мой бы отец по другому сшил». Стали спрашивать, я говорю: «Да он у меня был сапожник. И сапожник вот очень хороший». – «Да где же он научился?» Там знали, что я из деревни, конечно. А где же он там туфельки еще? Я говорю: и туфельки шил, и полусапожки, и все шил, и сапоги. Рассказала, что он учился в Петрограде у хорошего сапожника, и даже во время войны, я говорю, вот он на фронт из-за этого не попал, он шил царским офицерам сапоги. Такую я фразу сказала. Слушайте – я говорю, поэтому он на фронте не был. Так он еще там и денежки заработал. Я, кажется, и это ей сказала. И вот с тех пор она на меня смотрела так, как на элемент не очень-то такой надежный. Вот достаточно было такой фразы. А я, когда была беременная, я из этой квартиры выехала – это была квартира, угол Пушкинской и Невского. А я нашла обмен – угол Восстания и Невского, тринадцать метров. Но без света. Но я решила, что все же можно кровать поставить. А когда я была беременная, я сдавала экзамены в аспирантуру. И переехала, и уже родила. И жду – какой ответ-то будет. И вот я своей приятельнице в старой квартире говорю: «Мне должна придти из Москвы открытка или письмо, пожалуйста, сделайте так, чтобы в руки Полине Ивановне она не попала. Потому что я жду сообщения, принята я в аспирантуру или нет». Я боялась, что она, если узнает об аспирантуре, пойдет и скажет, что она вот такая-сякая, не очень ей можно доверять. Ненадежная.

– А кто она была по специальности?

– Медсестра. Тоже из деревни, так приехала и вышла вот замуж, просто медсестра. Но она и в поликлинике там, она держала. Вот такие были очень даже...

– А детей не было?

– Нет, не было. И, действительно, эта вот девочка, по несколько раз бегала, смотрела в почтовый ящик, и все же она укараулила. Открытка была. Она бы прочитала, что вы приняты, занятия тогда-то – она прибежала, такая радостная? «Тетя Тоня, Полина Ивановна не видела», Ей еще как игра. Боялись, вот эта боязнь, недоверие, это...

– Ну то есть вы понимали, кому доверять все-таки можно?

– Да, конечно.

– А с чего вы понимали?

– Это, наверное, необъяснимо так. Ну вот если она такая вот как-то жесткая, командует, и всегда, конечно, у нее такие вот политические высказывания были – конечно, тут видишь, что она уж очень партийная, как говорили – шибко партийная, от этих надо подальше держаться. Ну она вообще милейший человек была, мда... это... Я вам больше скажу, я вышла замуж вот за Знаменского, я же ему ничего про себя не сказала. Кто я – ни Боже мой. Вот там родилась в деревне, а в 1930 году мы переехали вот в Пестово и все. Вот я там в Пестове и все, наврала, и кончила десятилетку. Так ведь и он мне ничего не сказал. Уже потом, когда уже он там ушел, был женат на другой – ой, да это уже сколько лет прошло, вдруг приезжает его тетя родная, которая была в ссылке в Казахстане, потом им разрешили после войны вернуться, и они вернулись в бывший Свердловск, где у нее была какая-то дальняя знакомая, и они могли у них там где-то в комнатухе жить. Она такая, из бывших была.

Их выслали в 1937, муж у нее был инженер. И она не была в этом городе, ей захотелось. Ну, у нее такие понятия что я их невестка, Олечка ее племянница, и так далее. А что у него там жена другая, ее не интересовало. Она приехала ко мне. А я в это время жила вот в этой светлой комнате, на Малом проспекте Васильевского острова. Мы уже только вдвоем, и раскладушку можно было поставить, она у меня была, она так и сказала, что я, конечно, к Коте – его звали, хотя, конечно, он был Георгий, Котя – я, конечно, к Коте проеду, посмотрю, но невестка для меня это ты, Тоня. Хорошо. И вдруг она начинает рассказывать, что папочка у моего Знаменского – контр-адмирал в царском флоте и за белых. И все она свои мытарства рассказала, как они скрывались, как у них обыски были, как они выдумывали себе новые биографии. Анна была мать Знаменского, Анна звали, но по-домашнему Нюся, так Нюся везде писала и говорила, что она воспитательница в детском доме была. Оказывается, она там какой-то благотворительницей была в этом доме – так она четко называла, сколько детей, как, все – а вот она работала там воспитательницей, да и все. А что был муж ее никакой не контр-адмирал, а он на железной дороге там инженером был, путейцем. А я, еще не зная этого, когда только вышла замуж, года два мы прожили, вдруг Георгий переходит с одного места на другое. Всегда же были анкеты, очень сложные анкеты, он приносит чистую анкету, вынимает в своих бумагах старую анкету, и с той все переписывает. Я так засмеялась, говорю – да ты что, ты со своей анкеты, что ли, я тут все писала из головы. Он – да чего ты там, вот я тут перепису, у меня быстрее. А он просто боялся несовпадений. Вот до чего... И он мне ничего не сказал, и я ему ничего не сказала. Но я тете тоже ничего про себя не сказала. Я только про Знаменского все узнала. Она уже потом меня водила к своей подруге Вере Ивановне. Как это интересно было мне наблюдать, как две дамы встретились. Они не виделись вместе с 1937, а это был уже 1985-й. Как-то у них все было сдержанно, как-то все так размеренно. «Верочка!» – «Шурочка». Тут бы завизжал, бросился – нет, они «ах!» сказали, постояли-посмотрели, подали руку, а потом так обнялись, щеками прижались – прошу проходить... Ну мы там чай пили, вот – я была как в театре, мне было так интересно, я потом прихожу, там рассказываю своей профессуре, я говорю – а я видела, как господа встречаются. Ну я уже со Знаменским в разводе, так я могла про него уже сказать. Ну и потом уже это не имело такого значения. Что вот, оказывается, Знаменский-то у меня контра недобитая был, а я и не знала, а сама тоже молчала. Ладно, вышла я второй раз замуж. Уж мне было сорок пять лет. Оле было пятнадцать. Думаете, я сказала мужу? Ни-ни-ни. Помалкиваю. Так, оказывается, и он мне помалкивал. Нет, вы можете себе представить? И уже, я точно не помню, как это было?.. Перестройка началась, ну вот как это было, чего я забыла?.. Вот как уж началась перестройка. Он такой был рукастый, он по образованию инженер, электрик, занимался переплетами. И вдруг я вижу – на корешке одной новой обложки, еще пустой, написано «Крик души». Я говорю: а что ты сюда будешь собирать? – Вот увидишь... И вдруг он мне показывает документы. Отец его в 1937 году... а отец у него был эстонец, Ульрих Иогансон, оказывается, сидел, и в 1940 году там умер, где-то на севере, и выписка из судебного, тройка судила, и вот это судебное решение. Он сел за то, что около пивного ларька в присутствии Васильева и Смирнова там каких-то сказал: как же это так, вчера их портреты висели, они были нашими вождями, а теперь они враги народа оказались. И все, и в 1940 году он там и умер. Ладно. А сам мой ненаглядный Борис Иоганыч Иогансон, оказывается, когда началась война, его взяли в армию, и он был очень горд. А у мужиков это есть, они любят воевать. И его снимают с фронта. Был, оказывается, такой указ, что все подозрительные, не чисто русские, поляки, он сказал нас там их

было сто двадцать национальностей. Снимали с фронта и отправляли в Сибирь, на шахты, в Осинники.

- То есть его судили, да?

- А нет, это как-то снимали и отправляли, и все, без суда, здесь даже без суда.

- То есть судимости у него не было?

- Нет, нет-нет, просто он был снят с фронта вот так вот, вот такое... Тогда уж и я ему рассказала: ну, и я недалеко от Осинников тоже была... Вот, когда началась перестройка. А жили с 1968, почти двадцать, больше лет, и молчали. Так что представляете - степень нашей зомбированности?

- А реабилитация? Реабилитации у отца не было?

- Ну как же - я и хлопотала.

- А про себя - вы же тоже были в ссылке? Не думали про себя, что вам... А, то есть у вас была просто другая биография?

- Я совсем, я была чистая, правоверная советская гражданка. И даже член КПСС. Ой, аферистка! Как прихотилось... а ведь противно временами было, так противно - думаешь, да что это такое, и там врешь, и там врешь, вот было, у нас были такие порывы, мужу-то ведь - и боишься. А почему я боялась? Потому что он любил выпивать, как все хорошие такие специалисты, он был, конечно, от Бога, весь институт на нем держался.

- Такой еще вопрос, тоже абсолютно метафизический. К чему вы стремились в юности ранней, когда были в возрасте тинейджера, как сейчас принято говорить?

- Ой, как я стремилась так прожить как-то жизнь более ярко что ли, чтобы меня заметили. вот как эта учительница [из фильма «Сельская учительница»], какой-то необыкновенной быть. Вот это у меня все время было, было желание. Может, поэтому я и училась хорошо, и как-то вот дружила всегда... у меня подруги чаще всего были старше меня. У меня как-то не было подруг младше меня. Меня тянуло к ним как к более умным, таким уже, надежным... Я не представляла себе жизнь, что я там буду рядовым участковым врачом - я это ни секунды не допускала, нет. Мне какие-то так вот вершины манили, представляете? Да, вот так вы на меня смотрите. А и правда - что-то ведь получилось в конце концов?

- А скажите, а был какой-то момент, когда вдруг вы поняли, что можно и с мамой, и с папой обсуждать политику дома? Говорить о политике? Когда это было?

- А это было, когда этот наш Коля Кузин, который нас раскулачил, вдруг приезжает в Пестово. И я приезжаю. Это было, когда Сталин умер. А этот Коля Кузин побыл в Обухово год-два председателем колхоза, потом его взяли в армию, больше он в этой деревне не появился, только в отпуск, один раз в году. Он остался в армии, дослужился до майора или до кого там, ну так и служил, пока не демобилизовался. А мать-то у него была в деревне. В отпуск в Обухово он ездил через Пестово. И буквально видно было наш дом с вокзала, он знал, что мы здесь живем, в общем, но никогда не заезжал. А вот когда Сталин умер, и я приехала в отпуск, а мама и говорит: «Ведь Коля Кузин к нам приходил». Я говорю: «Это зачем?!» Как я зыркнула. Она и говорит: «Да как же вот, навестил, да так, говорит, мы хорошо поговорили, пятое-десятое». А мне это не понравилось, я говорю: «А я бы на вашем месте не пустила». Верующий человек, она говорит, что так нельзя, надо вот все прощать и еще и молиться за своих врагов, все это она мне сказала, но я это не восприняла. Ладно, поговорили. На следующий год я где-то была, вхожу в дом... Я его сразу узнала, хотя уже мне было за тридцать, а было восемь, уже лет 25 прошло, как я его не видела. Причем он изменился. Самовар в столовой. Сидит Коля Кузин, мама и отец. Я так немножко опешила, но мама это не видела, она спиной ко мне, а я как вошла и сразу к нему

лицом. И прошла так в свою комнату, и не поздоровалась. Такой протест вылез. А мама сразу: «Тоня, Тоня, да ты разве не узнала, это же Николай Ильич». Я говорю: «Нет, узнала». Она мне такие движения делает. «Молодые, они еще так этого не понимают» – пятое-десятое, начала все это смягчать. А потом я когда еще к ним приехала на третий год, мама говорит: «А Коля-то просил у нас прощения. Он демобилизуется, приехал посоветоваться с отцом, куда ему демобилизоваться?» Как участник войны, кадровый офицер, он мог как будто бы в любой город демобилизоваться, а приехал посоветоваться: «Куда мне, дядя Коля?» А отец сказал: «Конечно, в Пестово. Тут и к своей деревне ближе...» А матери уже не было у него в живых. И дети будут учиться: сел на поезд, каждый день был поезд Ленинград – Пестово. Ну, он и послушался, и демобилизовался. Так она и сказала: «Дядя Николай, тетя Дуня, простите, но я тогда словно... Простите меня, я молодой был, да у меня ведь и план был спущен, сколько раскулачить-то надо». Так что они уже совсем растаяли, простили, и он каждую субботу приходил к отцу, брал его, шли они вдвоем в баню. Отец уже пожилой был, не мог сам в общественной бане, помогал тазик принести и мыл отца. Вот так все это у нас закончилось.

- А вы его потом простили?

- А я... нет, я долго не прощала как-то. Я теперь уже вот когда стала взрослой, я уже поняла, что действительно – причем он? Он ходил с пистолетом на крестьян, а за ним шли тоже с пистолетом, он еще был инструктор райкома. Там такие спускали – попробуй не... Когда я хлебнула этой партийной дисциплины-то, сама-то когда я влезла в эту партию, так я и поняла, тогда я уже поняла, конечно. Не своя воля, он так, исполнитель был, ничего не сделаешь.

- Но все-таки инициативу какую-то он проявлял?

- Ну, конечно, можно было бы все помягче, во всяком случае, он мог даже подсказать – что знаешь, что, давай-ка, дядя Коля, уезжай... Ну это да, а план-то надо было – так бы все разъехались.

- А как тогда с убийством брата?

- Да... Вот так. А вот как – за что и как, то есть как – я знаю, что он в двоюродного брата моего отца, Ивана Михайловича выстрелил с улицы и убил.

- А он пил?

- Да нет, думаю, что не очень, еще молодой был, в деревне ребята много не пили, нет.

- А это как отец простил?

- Как это простил? Отец помалкивал, это мама все, и отца, конечно, уговаривала, да ведь столько времени прошло уже, отец-то был старый, уже чего тут... Потом как-то ведь у православных не поощряется это чувство мести... А в 1955 году умерла моя мама. Отец сразу сник. Он какой-то стал молчаливый, забывчивый. Представляете, они прожили всю жизнь, шесть человек детей, столько горя перенесенного, и вдруг он остался один. Так что уж как с ним говорить о политике можно. А очень было тяжело – думаешь, ну что это такое – ну как? Иногда там поднимался гнев, и никуда не денешься. Страх, в основном, конечно нами... Вот сейчас, иногда так говорят – а все же вот как-то так был порядок, да-да-да, был порядок. Но это порядок только на страхе держался, и никак не на высоких там материях. Все боялись. Ну хорошо – у человека чистая была биография, но ведь какая была жесткая дисциплина и на работе – это уж при Брежневке началось. А ведь был же период, когда судили за двадцать минут – это же факт, никуда не денешься. Представляете, как у человека, какое было напряжение? Что там говорить... И потом за работу как-то, с одной стороны было нельзя уйти, с другой стороны люди и держались, если хорошая у них... ну как – ты не имеешь право уйти на другую работу. Вот я окончила институт,

поступила – это Колпино, родильный дом – это все, моя пожизненная работа. И вот только вот, да, вот только на учебу отпускали. Вы представляете – нужно было проработать три года. Я проработала три года. Прихожу к главному врачу. И говорю, что вот я хочу поступать в аспирантуру, дайте мне характеристику. – Как?! Вы советский врач, вы бросаете детей, вы, там, свои личные интересы хотите, там ученой стать... Ну все – куда двинешься? Никуда. А в Колпино мы ездили, тогда электрички не было, еще такой обыкновенный был поезд, и ездили – врачи ездили, и ездили инженеры с Ижорского завода. И среди них тоже опять был еврей один, Сергей Иванович, он говорит – я, конечно, Соломон Исаакович, но я, говорит, Сергей Иванович – симпатичный такой. А когда задумала уже в аспирантуру, то я начала готовить язык, все же пятьдесят минут едешь, утром, утренние часы. Я брала с собой книжки, словари и уже занимаюсь. Он это увидел. И говорит – чего это я? А я говорю – да вот, хочу в аспирантуру. Ой, молодец, конечно, хорошо. Правда, они тоже, говорит, не очень получают. Я говорю – зато работа другая, я как-то к лечебной... Вдруг он меня встречает и говорит – вы знаете, что теперь так повысили – а тогда тоже это не очень распространялось, – так повысили ученым зарплату, вот я знаю, говорит, у меня знакомые, девчонка только что защитила – и две тысячи. Я даже ему не поверила. Не может быть, чтобы такие деньги – инженеры, вот они все по сто двадцать, да-да, так что вы молодец, давайте, готовьтесь, пятое-десятое. Когда у меня получалась осечка, я уже его ищу глазами – я говорю: Сергей Иванович, у меня ничего не выйдет, потому что мне он справку не дает, сказал, что все, я должна работать и... Он говорит: идите к прокурору! Я говорю – что вы, я, да к прокурору... у нас на главврача потом как... Он говорит – есть постановление, чтобы на учебу отпускать. Он не имеет права вас задержать. И я не могу – вот не могу. День проходит, два, он, когда-то встречусь, когда нет, потом он спросил – ну так вы были у прокурора? – Нет. – Вот завтра же, то есть сегодня же идите. Вот придете, а у нас работа у меня рано кончалась, в два часа – шесть часов только работа, и идите. Так настропалил, настропалил, меня так, я говорю – ладно, ладно, пойду. Ну что это такое-то, и я пошла. Прихожу, только открыла рот, говорю, что вот я хочу в аспирантуру, а вот мне нужна характеристика – а он сразу понял. И кричит секретарше – напишите вот этой посетительнице справку. Она мне там пишет справку, что согласно постановлению от такого-то числа, номер такой-то, что руководитель не имеет права задерживать людей, которые пойдут учиться. На учебу. Теперь я со справкой хожу, я боюсь показать своему главному врачу. А я боюсь, я как-нибудь... опять он мне накрутил хвоста. Где вот я смелая, а где вот как-то... Пошла. Ну он так, с неудовольствием, и сказал – ну что ж вы, добились своего, ладно, отпустил, и написал характеристику, даже и неплохую – плохое ничего не выдумашь, я уж там до того старалась. Так что я вот так и поступила. А то бы и работай, и работай. Как одна медсестра ушла с работы? Вот у меня, в моем – я была заведующей отделением новорожденных у меня там были сестры. Одна и... тяжело ездить, конечно было из города, вот в Колпино, пятьдесят минут шел поезд, причем, сейчас электрички часто, а тут если опоздаешь следующий поезд только через полтора часа. А если опоздаешь – тебе суд. Ну представляете, как было? Конечно, она где-то подыскала себе работу другую. Ну и вот мне и говорит, что помогите, попросите главного врача, чтобы он отпустил, потому что мне тяжело ездить, пятое-десятое, ну Я поговорила, он возмутился, и никаких расчетов, пусть работает, и все. она опять какое-то время работает. Потом, видимо, я потом уже сообразила, видимо, кто-то ее научил. Она однажды мне говорит: знаете, Антонина Николаевна, я больше этих детей видеть не могу. Я когда-нибудь трах даже убью одного. Я так испугалась, я говорю: нет, слушай, не надо, давай... Пришла, к главному

врачу, говорю: Давайте мы ее скорее уволим, чтобы – вот представляете, это – это ж было бы вообще бы – и его засудили, и меня бы. И моментально мы ее... Слушайте, это как сказки я рассказываю, это на самом деле ведь было. Хоть под присягой. И быстренько мы ее уволили. Через некоторое время звонок, вот я еще в ванной это жила, вдруг улыбающаяся, счастливая – я забыла как сейчас ее зовут, моя сестрица, с большим букетом цветов. – Спасибо, я теперь работаю близко к работе – тут я и поняла, что это она инсценировала все. Вот как – вот такие были законы драконовские. Вот нельзя уйти, и хоть ты лопни. На пожизненно, все, остаешься. Или вот какими-нибудь обманами, как я на учебу, как она...

– А можно ли сказать о том, что заключение, лагерь как-то изменили отца?

– Конечно. Я, по-моему, в прошлый раз говорила, что, во-первых, с них же брали подписки, и они ничего не могли говорить, это ладно, иногда только, изредка. А в каком плане, конечно, изменили – просто запугали. Конечно, он не был уже таким смелым, как в Обухове мог выйти, спорить с этим Колей Кузиным, и сказать, что ты уходи – после тюрьги он бы уже не сказал, он понимал, что за это будет. Я думаю, что только такое чувство было вот испуга. А в смысле его как работника, вот его таких человеческих качеств – нет, это все остается. Я же вам говорила, что он даже там достраивал. Вы представляете? Он же человек дела, это все осталось. Все при нем осталось.

– А вторая, второе заключение? Второй срок?

– Тут уж он был опытный, опытный, так сказать. Вот, кстати, вот на втором-то сроке он еще и остался. Второе заключение не так глубоко перенес, как первое. Потому что, во-первых, какое-то было массовое, и все ни за что. И они-то там между собой говорили, ведь, всех посадили тех, кто имел судимость. И срок там какой-то был небольшой, по-моему, два года – быстро выпускали, еще досрочно, здесь нужно было просто вот как-то еще раз пугнуть их, поэтому это меньше. Но ему зато физически было тяжелее, он же был больной, он был гипертоник, у него был бронхит хронический, он курильщик был, ему было физически потяжелее, но хорошо, что вот его, видите, в колхозе, там строили, надо было овощехранилище, на воздухе, чего уж, его крестьянская работа. Так что это полегче переносилось, чем там, на Соловках на ваших милых.

– А отношения в семье как-то поменялось, изменило заключение его и ссылка?

– Ну как вам сказать? Отец вообще у нас был очень строгий, боялись мы его... а как это слово сказать? Может быть, боялись вот не так, как мы Сталина или там боялись, по-другому как-то – мы почитали его. Вот было такое отношение, ну вот как мама-то и говорила – там Бог, а здесь отец. Вот как он сказал – это уже закон. А ведь четыре парня было, было сложно. И... нет, как и до ссылки, была дисциплина, был порядок в доме раз и навсегда заведенный, так все и продолжалось. Но, надо сказать, что сыновья-то уже выросли, и с нами не жили, только приезжали. И все равно – они уже взрослые, они зарабатывают, они все – они приезжали, и они перед отцом очень даже по струнке стояли. Вот так. А уж не говоря про меня, чего там... А он меня очень любил.

– А как вы думаете, как-то убеждения отца изменили годы заключения?

– Думаю, что нет. Если он их называл «вшивыми чертями». Нет. Ему, конечно, были абсолютно непонятны эти колхозы, и он их не принимал никак и не понимал, а мама видимо, так вот, я это от нее взяла – ей все познать эту, понять, как. Она этими колхозами тоже очень интересовалась. Отец махнул, и сказал, что там это, видимо, гиблое дело, и не интересовался. А мама, когда приезжали из деревни, так она все там спрашивала: ну как вы там в колхозе, как, да сколько на... и

потом ее родная сестра, мама, была в колхозе, она к нам приезжала каждый год – тоже все рассказывала. Все интересовалась – что как это вот: не свое поле, а вот... Что работаешь, и не знаешь, что получишь. А там работать надо. И непонятно было, и, конечно, у отца вот так, как – иногда какие-то фразы вылетали, что не будем мы сыты с колхозами – вот так. Что, ни-ни-ни, до него не могло дойти, что можно там сеять хлеб и вот эту всю добывать еду от землю сообща, а не только вот не на своей земле. Он всегда говорил – нет уж, если не своя земля, так она так уж родить не будет. Это он никогда не верил в колхозы, нет. А мама так иногда говорила – да может быть и ничего ведь, вот тут у них зато машины, а он говорит – а что, бы я не купил машину? Трактор-то? Мы же собирались. Кольку-то мы уже собирались отправлять на тракториста учить? А всего-то 4 га было – четыре га всей земли. У нас уже веялка была, дуборезка была уже – механизировал. Оказывается, еще и трактор он уже задумывал, Кольку-то отправлять. Так что, нет, эту систему он, безусловно, не... И надо вам сказать еще – они очень почитали царскую фамилию. Вот так, да. И это ко мне перешло – я же вот этот портрет я так до перестройки и перед самым началом перестройки у меня какое-то к ним было такое почтение... если так вот выразить. Вот как-то проскальзывали иногда там что-нибудь, вот как-то – а вот император наш там, что-нибудь при императоре – как-то всегда очень положительно. А надо сказать, что крестьяне-то когда вот получили тут земли – это так ведь они же неплохо ведь жили. После столыпинской реформы ведь народ зажил. Только ленивый, как Коля Кузин-то наш... Коля Кузин бедный. Я когда прохожу мимо его – они же на одном кладбище с отцом похоронены, и чтобы мне пройти к отцу, я должна пройти мимо этого Коли Кузина, ну я всегда остановлюсь и говорю – Коля Кузин, прости меня, пожалуйста. Честное слово, мне как-то неудобно даже так становится. Мысленно всегда скажу ему, что ты прости, что делать. Что вот нету у меня вот окончательного такого все же как-то... любви, как бы надо православной к православному. Не получается.

– А могила его ухоженная?

– Да, он же чего-то там – военный, майор, жена вот, все был один, теперь жена там, и, видимо, дети, ухожена, ухожена. Ничего не могу сказать.

– То есть семья там так и живет?

– Да, да. Он хороший дом построил, все как полагается. Ведь тогда военные очень много получали. Особенно при Сталине. И, наверное, он очень хорошую пенсию получал, военную, да еще работал, так что... построил дом хороший, и все нормально. Наверное, дети выучены, все, как полагается.

– А мама – как она изменилась после ссылки?

– Да как вам сказать? Тоже человеческие качества те же у нее, все остались. Может быть, больше сострадания было, потому что как-то вот я вспоминаю, как в Обухове – вот по отношению, скажем, к тем же, этим, нищенкам. Сейчас вот как я не знаю, ведь в деревнях они ходят по домам, нищие, так уже... ну мама всегда там подавала, хлеб там печет, или блин тепленький даст. А вот в Пестове она даже кормила их – нальет там щи, что-нибудь, вот если так это сравнить, как-то у нее, наверное, больше было жалости. Она не ожесточилась. Она понимала – хлебнула сама-то лиха, понимала, что... У нее уже – она знала, что там двоих-троих ей надо угостить, мы уже знали, что мамы нищие приходят, она их на кухне посадит, обязательно накормит, уж там что есть – все сует, бывало.

– А вот скажите – на ваших братьях старших как это отразилось?

– А как? Они тоже все скрывали. Они тоже попадали в чистенькие. Значит, мой, Ваня – это ладно, Коля очень был способный, толковый, но Коля же, Коля, мой брат отбыл срок пять лет, его засудили, уже да –

уже отец освободился, он с отцом жил такая статья – все от меня шептались, но я потом уже поняла, да и потом документы увидела, у мамы лежали – якобы он изнасиловал какую-то девушку, на танцах прямо. А в документах было написано – это девушка слезно пишет, что я сама согласилась, что не было никакого изнасилования, что вот там так-то, так-то, там он меня угостил, пятое-десятое, ну Но устроили показательный суд. Сын кулака. Ему дали пять лет.

– Это до войны, да?

– До войны, до войны. До войны, мы еще в Сибири были, это где-нибудь – 30, 31 год – вот так. И попал он на Беломор-канал. Но там вот тоже такой положительный момент – организовывали курсы там не знаю я чего, давали специальность по бетону. Надо было специалистов. И он там этим быстро овладел, какую-то бумажку получил, толковый был! Ой, Коля такой, так... отец все и звал – золотая голова. Вот, на тракториста его – все Коля сможет. Его, конечно, досрочно освободили, за хорошее поведение, и он остался на этих великих стройках. В частности, уже что я помню, вот где-то он там был, вот придет, всегда мне чего-нибудь купит, платье там, конфет – он был очень добрый, мягкий был по характеру, как мама говорила: у меня, говорит, Коля, как девка. Такой вот – все помогает, А вот четко я уже помню, мне было пятнадцать лет, тогда значит, двадцать три плюс пятнадцать – 38 год это был, Он был на Рыбинском водохранилище, строили они там это Рыбинское водохранилище. Приехал он, а следующий брат идет – Алексей. Алексей тут с отцом работал в плотницкой бригаде и то рады были, что вот взяли на работу, все. А он приехал и говорит – поехали, Алексей, со мной, там стройка большая, я тебя обучу этому самому делу бетонному, ты будешь в бетоне разбираться, ну И уехал. И они вот вдвоем там были вот на этом строительстве. Следующий раз вдвоем приезжают, а который старше меня брат Толя, тоже очень такой был умный у нас парень, он все вопросы задает – да как это море строят? Ну он как, он парень – ну строят, ну море – ну как это море строят? Ну как, ну как? Непонятно. Он говорит – да приезжайте, вот приезжайте летом. Ну мы с Толей летом и поехали. Нас родители отпустили. И я посмотрела – как строят это море. Это стоили, конечно, заключенные.

– А вы видели их?

– Да. А как же? Он меня привел и показал... да, я еще в то время вдруг, когда вот они приехали-то, а я сказала, что – а я тоже буду строителем. А он рассказал об одной женщине, у них есть инженер-женщина, которая получила орден Красного Знамени. Вот она тоже – и вот что они море строят, и я... мне поменьше, наверное, было, чем пятнадцать-то лет, может быть, четырнадцать, ну не знаю, может, и пятнадцать – дуреха. Я говорю – во, и я теперь буду. И я пойду учиться. Он говорит – да ты что, да ты знаешь, какая это работа? А я упрямо – ну и что, ну и что, она могла – значит, и я тоже могу. Вот он и говорит – приезжайте посмотреть. Толя как же, а мне он говорит – я тебе покажу, что это у нас за работа. И я отлично помню, мы приходим, огромный котлован роется, может быть, метра полтора пока еще глубиной, и вот на глубине этих полутора метров там как муравьев масса народу. Парни, и вот они лопатами выбрасывают туда глину. А через этот ров такой набросаны, бревна такие, по которым можно с одной стороны на другую пройти – он такой длинный, узкий – видимо, это проход какой-то, не знаю, вот то, что я увидела. Глина, песок, они все грязные, в сапогах, ну Он говорит – вот, говорит, это будет твоя работа, что, тебе это нравится? Ну я замолчала и я испугалась, это ужас какой-то. А... что-то я ему сказала, вроде того, что – а вот как же так-то – все же работают? Он говорит – а ты знаешь, как? Она, говорит, хуже мужчины ругается матом. Они только потому ее слушают. Как я только услышала это – что еще матом надо ругаться, у меня сразу пропало желание.

- А знали, что это заключенные?

- А как же? Конечно, только заключенные. Он все, дал мне точную инструкцию - что вот с заключенными не общаться, они там могут чего-то просить, пятое-десятое, вот у них режим такой-то, вот в этот ларек ходи, в этот там не ходи - он все рассказал. А у меня все равно получилась осечка. Я за чем-то пошла, мама меня проинструктировала, я им обед там даже готовила, так это мне было интересно, да и правда я их кормила, за чем-то я пошла - дорога, кругом чистое поле. Вдруг из земли вырастает человек. Я поняла - он лежал. Он встает, подходит ко мне и говорит: девочка, ты в ларек? В ларек. Купи мне сигареты, или я не помню, чего - и дает деньги. Вот по инструкции я не должна была у него брать. Ну я никак - как отказать? Я взяла, купила, иду - никого нет. Только сравнялась - он опять вырос, пришел, сказал спасибо, да-да, нет, знали, что это...

- А вы говорили - четыре брата.

- А Иван, старший, этот с отцом рядом так и жил, рядом пристройка была, у него были дочь и сын, он тоже погиб на фронте. У меня три брата - вот Иван, Николай и Анатолий, три брата погибли на фронте. А Алексей уже своей смертью умер.

- А какие впечатления все-таки еще оставила эта поездка на Рыбинское водохранилище?

- Да вот меня только вот это поразило, я... потому что когда кино показывали, так все как-то весело, а когда я увидела все это на самом деле... это я не знаю, где - в каменоломнях, где-нибудь это... представляете - и вода там, и глина, и вот они чавкают, лопатой глину и выбрасывают. И, причем, мы стоим с братом и они не смеют остановиться, они продолжают работать. Он там мне что-то говорит, ну там, стояли - ни-ни-ни. Такая была строгая дисциплина.

- Труд заключенных вы тоже видели?

- Да. А на лесоповале-то я тоже в Сибири видела. Труд самый был рабский. Техники там, конечно, никакой. Вот то, что я видела еще - но это до войны, вот видела на этом море, самом Рыбинском, и там на лесоповале - все-все первобытное, там пила, а здесь лопата. А как там будут копать дальше.

- А вот скажите, Антонина Николаевна, было ли у вас, у мамы, у братьев старших, или еще у кого - как-то выражалась такая мысль, что, в принципе, ваш отец невинно страдает, а виноваты коммунисты, большевики...

- Ну конечно! Да конечно, а за что отец - как это, за что ему скажешь виноватый-то, как он такой трудяга был...

- То есть вы никогда не сомневались в том, что он виновен?

- Ой, Боже избавь! Конечно! Да ни одну секунду, нет, потом, это настолько было ясно, еще когда и до раскулачивания, когда этот Коля Кузин приходил там, просит - то муки там нужно, то соли, то там лошади овса нету, еще чего дать. отец комментировал, но не при Коле, а когда увидет - говорит: ну и что? Ленился, ничего не работает, так ничего и нету. Говорит, та же земля, все то же, ну рядом вот, соседи. У Головина есть, а у Кузи нету этого, у Кузина. Абсолютно четко, и, по-моему, это у всех было четкое понятие, это ни за что, потому что работали, это ну никто, язык не повернется сказать. У нас все работали. Ну уж если мне было восемь лет - вон у меня обрезан кусок, во - пошла жать. Это еще семь лет было. Уже серп в руки. Я только один раз махнула и по пальцу, меня отец увел. Потому что все ребята работали. Ну абсолютно, даже никогда никакой тени сомнения. И они абсолютно точно понимали, конечно, ни за что, ну блажь такая пришла.

- А родственники другие, знакомые? Перед ними приходилось как-то отца оправдывать?

- В деревне - нет. В своей деревне нет. Вот я же ездила. Нет. Все-то тоже так и понимали, что кто работал, так тех и выгнали. Кто хорошо работал - так и сейчас говорят. А что, кто там - ведь оставались и люди, которые не все ленивые как были, так те и переживали, говорили - тяжело было с этими лентяями. Потому что они и в колхозе не хотели работать. Тоже - колхоз-то держался на тех, кто остался, вот так вот, работяги.

- А у братьев какое отношение было к советской власти?

- Да такое же.

- Такое же, как у отца?

- Да. Но только очень все молчали. Мне вот еще Алексей все время говорил, всегда, как приедет, состроек, еще так боялся... Дело все в том, что на эти стройки было еще не так просто попасть, оказывается. Вот кончается стройка и они какое-то время в подвешенном состоянии. И ждут. Как бы вызова. И, наконец, из Москвы получают вызов, что вот туда-то ехать, туда-то, туда-то, туда-то. А там в Москве, был такой... вот я даже фамилию помню - Миклашевский. Наверное, тоже из бывших тоже каких-нибудь... И он и к моему брату Николаю, и к Алексею очень хорошо относился. Я тоже, думаю, он понимал, мы как-то понимали друг друга, репрессированные. И он как бы шефствовал над ними. Кончается одна стройка, они так и говорят: Миклашевский нас там куда-нибудь еще пошлет, так вот, я почему это так запомнила - (Миклашевский [так?]), и действительно, получают - что вот теперь на такую-то они едут стройку. И они такую работу боялись потерять. Им это нравилось. Молодые ребята, холостые, энтузиазм, такие сооружения, их можно понять. Так мне вот особенно Алексей вот все и говорил - ты хоть где-нибудь ничего не скажи там про отца. Боже мой, я всем кому ни говорю - мой отец колхозник.

- Это еще до войны?

- До войны, до войны. Чтобы не дай Бог, где-нибудь кто-нибудь проговорился.

- Вы одна в семье были в партии?..

- Да, да, я шустрее всех оказалась.

- А как Алексей к вашей партийности относился?

- А он сказал - молодец. Пробралась и молодец. И правильно - а то ходу не дадут. Так это все понимали. Ходу никакого не будет. Просидишь там до пенсии, мнс, и все.

- МНС - это что?

- Младший научный сотрудник. Ну это он сказал, что молодец. Одобрил меня.

- Понятно, да. А скажите, вот доверие к людям - вы не утратили после всех этих событий?

- Очень выборочно. Вот я вам говорила - если шибко партийный человек, сразу настораживало. Очень, вот сейчас как-то легче жить в этом плане, что, как-то более люди открытые, и сразу видно, так сказать. А потом очень просто - ты за кого голосовал? И сразу все ясно. Как говорили: хоть он и партиец, но он хороший человек, вот такое было выражение. Понимаете... Ну а если мало еще знаешь человека, конечно, осторожнее с партийцами были уж. На всякий случай - лучше недосолить, чем пересолить.

- А ваш Знаменский не был партии?

- Да Боже избавь, да ой, какой он был контра. Ой, какой он был, ой-ой-ой. Прямо слюной весь исходил. Ну а я-то ведь не знала, там сколько... А он родился, он отца-то только номинально... Он в 17 году родился. И в 17 году - отец его и не видел. Представляете, как? И сколько он тут испытал? Всего-то с 17-го, и как еще надо было уцелеть на этой вот выдуманной биографии. Зато вот и переписывал он ее.

- А свекровь свою вы знали?

- Нет, она умерла перед войной. Не знала... Красивая, говорят, была женщина. Я на могилку хожу, она на Серафимовском. И бабушка его - я хожу на могилку, и...

- А он сам, что - жив?

- Вот в апреле был год, как умер. Девочки, мы все были на похоронах, все, кому следует быть... Всякие, все слова хорошие сказали, которые нужно. Нет, он хороший был человек, я ничего не могу сказать. Он хороший был человек такая у них честность, он, конечно, он не подлый, он не мог... он даже вот в личных отношениях он как-то сделал, что меня ничем не обидел. Вот понимаете - вот можно, вот ушел из семьи и все, но... не знаю, как-то все это мягко было, деликатно, это воспитание, тут большая роль, не то, что вот по хамски - как-то так сделают, обидят, что женщина всю жизнь мучается. А у нас и добрые отношения были, и все, и я с его женой... мы друг к другу даже один раз в гости ходили и когда мы с мужем новым квартиру заимели уже нормальную мы и их пригласили, когда они заимели нормальную - они нас пригласили. И тут же внушки наши, и ее дочка и все вместе. Ну а что, ну так получилось, вот...

- А скажите, я вас спрашивала уже про страх, вот тогда, но все-таки, какие-то моменты особого страха не помните в жизни?

- Уж я помню, как... когда поступала, когда я там себе написала все это, выдуманное - я уж очень боялась. Еще бы мне не бояться, слушайте. Выдумала-то я, вначале-то правильно написала - меня не приняли. Через год я иду в другое учреждение, но уже теперь все пишу, что я такая вся чистая, хорошая, советская - и я все время боялась. А особенно я боялась первого отдела, у нас был Борис Израилевич, такой еврей, надо сказать - хороший дядька, он очень много чего понимал, вот как я партию, я вам рассказывала, как я в партию вступила, Бедеров фамилия, я теперь его вспомнила и люди понимали, вот вы знаете, как, я говорю, что вот чувство, люди понимали, и если ты не гад - то делали вид, что так оно и есть. Помогали в этом отношении. А страшно, что вы, а как - что я, полгода жила без прописки, это же вообще я боялась каждого милиционера, вздрагивала. Вот идешь по улице, подходит - и документы проверять. А я как подхожу, у меня там прописки нет, я как... самое мое было светлое время, когда я, наконец, от этого паспорта освободилась. У меня ж там сколько подписей было, всяких печатей и... ложных. Из Свердловска - фальшивые, моя сестра поставила мне фальшивые - что я, какая она, я считаюсь сотрудницей и это... так что страху-то много, много было.

- А потом фамилию просто поменяли? Когда вы освободились от...

- Да как вам сказать - когда вот из-за паспорта, когда я поменяла, конечно, фамилию, уже поменяла, паспорт мне чистенький дали, уже мне поставили, что вот я там студентка, и так далее, вот здесь уже у меня вся жизнь началась. А там было нагорожено, что кошмар.

- А со сменой фамилии тоже было легко, да? Вы не хотели остаться Головиной?

- Боже избавь! Я так была рада, что можно мне было изменить, что вы, а как же - все же, как вот коснись чего, а тут уже запутала следы. Нет, я с радостью изменила фамилию. А сейчас жалею. Я люблю, и любила, и горжусь своей семьей. У меня теперь, когда у меня что-нибудь внушки там, скажут, я говорю - да Головина я, не Знаменская. А откуда я знала, что Знаменский - тошней меня фамилия? Ну? Из огня, да в полымя вляпалась. Откуда я знала? А ведь Знаменский - эта фамилия такая, как это, священная. Священников. Я тут прочитала, была в магазине, в нашей Академкнига, и там есть книжечка - происхождение фамилий. Я думаю - дай-ка я посмотрю, Знаменский - так, оказывается, эту фамилию давали семинаристам, которые вот там кончали и чего-то вот...

- Скажите, пожалуйста, приходилось ли вам когда-нибудь нарушать какие-то правила и законы, чтобы помочь кому-нибудь?

- Ой, наверное, часто. Вот в нашей группе на госэкзаменах Валя Судакова не сдала госэкзамен по марксизму-ленинизму. Представляете, мы все получаем диплом, а она получает диплом фельдшера и едет работать фельдшером. Хотя она так же училась, не очень сильная она была, ну такая средненькая, хорошо так, без всяких особенных двоек и без пересдач училась. Ну конечно, я организовала еще своих троих подружек, мы пошли к председателю экзаменационной комиссии, профессору Маслову и попросили, чтоб можно пересдать ей. А он сказал: «Вы уверены, что она подготовится, скажем, за неделю?» Я сказала, что я беру на себя. Я хорошо этот предмет всегда сдавала, я и люблю вообще это. Он говорит: «Хорошо». Вызывает секретаря и говорит: «Позвоните всем членам экзаменационной комиссии, чтоб никуда не уезжали. Будет еще одно заседание, надо принять экзамен». Я знаю, что ей это не осилить. Когда она ко мне пришла, я говорю: «Вот что, Валя, давай подготовим три вопроса с моего голоса». Сама я выдумала такие вопросы, наиболее вероятные, которые могут задать, и говорю: «А уж там дело мое, тебе там эти вопросы зададут». Выучили мы эти три вопроса, пошла я к заведующему кафедры марксизма-ленинизма. Рыбаков такой. Говорю: такое и такое дело, Валя из очень бедной семьи, мама у нее была уборщицей на хлебозаводе, училась она, так любит детей, это чувствуется, когда клинические дисциплины шли, так все у нее было хорошо с ребятами; ну что, она из-за вашего предмета поедет фельдшером? если врачу платили 600 рублей, так у фельдшера вообще нищенская зарплата... Я говорю, что она подготовила хорошо вот такие-то вопросы, спросите ее, пожалуйста. Он опустил глаза, говорит: «Ладно, посмотрим». Ничего больше. Но я поняла, потому что открыто он тоже обещать не мог мне. И он точно спросил ее эти три вопроса. И она ответила.

Когда я уезжала из Свердловска, я все сделала незаконно. Я там тоже училась хорошо, и мне не дают справку о прослушанных лекциях и семинарах, об оценках. Я говорю: «Вот буду переводиться в Ленинград» - «Да что вы, зачем?» не дают в деканате. Я вышла: чего делать? И в местном комитете у нас такой был Лазар... Лазарь, как правильно имя «Лазар» - твердо произносить? Лазар. видит, что я иду расстроенная и спрашивает: «Что такое?» Да вот, так и так. Говорит: «Пятьсот рублей есть?» - «Есть». - «Приходи, я тебе сделаю». И он сделал мне справку. Так мало того, надо было еще выписать. И он мне сделал печать в паспорте, что я там выписана из этого... Вот и все. тут я сама себе помогла, правда, не людям. И он молодец - а так бы я никогда не перевелась. Потом я жила целый год без прописки. А это прифронтовой город, только что сняли блокаду. Как я проехала? Вот меня сестра оформила, якобы я у них работаю счетоводом. И якобы я еду в командировку из Пестово - а главная контора была здесь, в Ленинграде, - везу там какие-то документы. А я приехала и осталась. И вот так я и жила на птичьих правах. А ведь было: ночью приходили и проверяли паспорта. Меня что спасло? Меня спасло только то, что моя сестра двоюродная работала в Большом доме, там в СМЕРШ, чего-то такое. Она ничего не говорила, она сказала: «Ко мне не придут проверять». Было пару раз так, что ночью они приходили, она показывала ему вот так свою красную книжечку, они извинялись и уходили. Вот так я прожила до весны на птичьих правах тоже. Но, ах, чтобы другим помогать? Я любила другим помогать, вот только как-то у меня это особенно не фиксировалось.

Однажды я выступала ложным свидетелем на суде у сына моей знакомой. Она тоже врач. Сын у нее был отслужил, институт кончил, но он у нее с такими немножко особенностями в характере, так у него всякие были

заскоки и политические и все, очень начитанный парень такой, грамотный. Вот, и кроме того, он всеми видами, по-моему, спорта занимался. А случилась с ним такая беда: на платформе они стоят втроем с приятелями, куда-то надо было ехать за город, подходит к ним двое или трое, сейчас я не помню, глухонемых и просят чего-то, ..как они потом догадались – прикурить, а эти спортсмены парни, они не курят, они отвечают, что у нас нет, а те, видимо, под мухой были, просят настойчиво, мешаются, такая вот ситуация. Так этот ..Саша, ..парень, сын моей знакомой, ничего лучше не придумал, взял одного вот так подержал, стукнул головой о вагон, поставил и говорит: идите гуляйте. Вот как там было я сейчас не помню, но во всяком случае, в общем их потом вызвали, арестовали, и именно Сашу, те-то двое стояли ничего, а Саша проявил вот такое дерзкое неуважение к больным людям и вообще стукнул там. И как надо было выручать. И мы с одной с моей приятельницей, мы в одной группе с ней учились, думаем, надо ей помочь как-нибудь, и мы взялись выступить в качестве свидетелей, и будем отрицать, что те к нему приставали, а он, и такого и не было, чтоб он так стукнул и прочее. В общем его освободили. Но дело-то тянулось, это следствие, 7 месяцев. С тем глухонемым ничего не случилось. Второе, я была у Крачковских. Это мои соседи по даче, они поехали отдыхать под Киев, сняли там удачно полдома и написали мне, что если хотите, то приезжайте, здесь там рядом озеро, хорошее место, я сейчас забыла, как называется, поскольку у меня Оля была с детским садиком отправлена, то я могла поехать. Вот я поехала, действительно мы вместе отдыхали, очень.. народ, это вот те, которые все педиатры и все кандидаты наук в квартире были. Ну И вдруг у них там какая-то проверка, пошли проверять, сколько платят за квартиру дачники, потому что хозяйка обычай уменьшать, а то говорить, что это родственники, потому что чтобы не платить какой-то налог тоже там был. А хозяйка нас попросила: скажите, что вы родственники, что вы ничего там не.., и так-то не ахти какие деньги платили, да еще чего-то платить. Ну Мы говорим ладно и сказали, и я подтвердила, да-да-да, ничего нет, легенды плели всякие. Врали, хорошо врали.

Но чем я еще занималась, и как я, ой как мне даже, мне страшно об этом говорить – аборт делала. Ну вы можете себе представить – такое было время. А ведь вот тоже все вот приятельницы, жалко. А я же не гинеколог, я только что знаю эту всю теорию и как и что, ну нам показывали там, когда мы учились. Кара была такая за эти дела: отнимали диплом и 5 лет тюрьмы. И все равно вот нужда заставляла. Так и мне тоже делали! И я также подпольно делала, ну не было, и еще как преследовали, еще как преследовали за это. Я знаю, когда я работала в родильном доме микропедиатром, там одна.. мне рассказывали, что вот на отделении была очень хорошая Лида, помню, Лида, Лида медсестра, и ее, говорят, вот посадили вот на 5 лет за то, что она одной сделала, как говорили ковырнула, ну вызвать надо кровотечение, а там уже выскаблят. И та женщина ее предала. Ну И как раз прошло 5 лет, и эта Лида освободилась и пришла опять же сюда работать, но уже не медсестрой, а нянечкой, потом конечно как-нибудь она там восстановит, но ей уже медсестрой нельзя было работать. На глазах было вот такое, я знала точно. Нужда или как-то заставляла, потому что ну другого выхода нет – а рожать – все жили в коммуналках, в маленьких комнатках. Да и вообще нищета, себя-то не прокормить было, какие там дети. Вот это я очень.. рисковала здесь, конечно. А если что.., заражение или еще – пятое-десятое, ну ладно, прошло-пронесло, слава Богу.

Добавить хочу и о вступлении в партию. Да, карьера – это как бы причина такая, общеизвестная. А вот что судьба дочери, конечно, меня

очень волновала, и я очень хотела, чтобы она никогда в жизни этого не знала и чтоб она чувствовала, что у нее мама такая как все, как у нее в школе все в английской. Родители там, конечно, были, уж отцы по крайней мере, были членами партии. А я не член партии, ну что. Первый раз когда она меня спросила, она там со второго класса, в первый класс мне не удалось ее устроить, это сложно, там набирали-отбирали чуть ли не через райком, через РОНО, а ну вот когда она была на втором классе, я ее пристроила, она догнала, я ей наняла учительницу, она догнала, потом занималась хорошо. И вот там видимо какие-то разговоры у детей были. Она приходит ко мне: мама, а ты член партии? Я говорю: нет. А почему? Вот почему? Ну тут я ей хорошо очень объяснила, дело все в том, что чтобы вступить.. чтобы тебя приняли в члены партии, надо, чтоб за тебя поручились два человека, а они могут поручиться в том случае, если знают меня не меньше 3-х лет, а я - 3 года училась, одни меня знали, в аспирантуре, защитилась, теперь вот я еще только работаю там сколько-то лет, совсем немного, там 4, 5 может прошло. так.. надо чтоб меня побольше, я не хочу так, чтобы наверняка, я попрошу, что дайте мне рекомендации, а они скажут: а мало вас знаем, поэтому я хочу подольше поработать и обязательно вступлю. И так и все у меня и получилось, здесь у меня очень хорошо получилось. А когда они видно уж там историю начали изучать и уже что-то такие у них пошли разговоры на более высоком политическом уровне, вот она мне задает такой вопрос: мама, говорит, а почему, когда готовили революцию, там было много всяких партий, а как, говорит, ..после революции только одна партия правит, а как же остальные-то, они что же есть? Ну.. много я чего выдумывала, чего-то, наверное не очень убедительно, я даже четко вот не помню, какую я даже линию вела, это только конечно так как оправдывала что.. те там.. там себя показали не так и там себя.. в этом они шли против большевиков. В общем большевики, коммунисты, они именно для народа все хотели, а те все там немножко для себя. Вот в таком плане я ей объясняла. Ну так и ничего, она кончила 10 класс, и я вот потом там старшего получила, и все нормально, за границу стала выезжать. Вот это очень большой фактор такой был для меня. И со стороны отца у нее там, представляете, сын контр-адмирала, которого еще сразу уколошили, видно хороший был генерал, в смысле ..верный подданный царский, и тут кулацкая дочь, со стороны матери, вот у меня. Как, как! А вот если бы ..вот так сказать.. ничего бы не изменилось, я не знаю.. или Ольге бы так у (нрзбр???) тоже был, но ей легче было врать - она ничего не знала я только хотела, чтоб у ней-то совесть, она бы не пряталась и не дрожала как я. Когда ведь врешь, все равно ведь там внутри-то.. тревога, никуда от нее не денешься, и каждый раз, все время напряжение, что абы где не проговориться. Так вот это мне очень хотелось ей сделать чистую анкету. Вот это.. очень тревожно было. - А как, когда вот произошли изменения, когда вы смогли рассказать ей о том, кто вы на самом деле?

- А, ну это уже когда я из партии вот стала выходить, когда появились статьи, книжки, и уже о кулаках стали писать, как, это, вот такие страдальцы, наши кормильцы, это люди, которые работали много, так за это они пострадали и так далее. Тут уже можно было говорить. Только у нее карьера была сделана, ну уж ясно было, что это можно говорить. Но это уже... а до этого ни-ни-ни. Она так.. любила так подхихивать, говорит: о, говорит, как у меня папенька с маменькой, как папенька с маменькой меня облапошили хорошо. Но папенька-то правда не был членом партии, и он-то.. у него высказывали такие, несдержан был в этом отношении, но только конечно в своем кругу, отрицательное отношение, но поскольку мы были в разводе, виделись они редко, то.. если бы вместе жили, так может быть.. было бы такое.. влияние больше, она бы может чего и сама догадалась, а поскольку там были только визиты, то,

конечно, уж политических разговоров не было там, она более или менее.. нам верила, но потом, да.. подхихикивала.

- Скажите, Антонина Николаевна, а в чем вот спасались люди? Какую альтернативу можно было найти ну я не знаю, официозу или там всему этому? В чем вы находили спасение для себя?

- А вот знаете... вот я вам говорила, что мы сами удивлялись, что какие-то там праздники, там еще чего-то, конечно, такого... общей глобальной причины безусловно нету, у каждого своя. У меня вот я знала я .. долбила в одну точку, вот я хотела добиться, заниматься наукой, и я дошла и так далее. Другие, я знаю это моя приятельница, что вместе ходили мы ложными свидетелями, она мечтала быть рентгенологом, педиатром-рентгенологом, вот это была ее.. Она добилась, она была очень хорошим рентгенологом, в большой клинике работала. Это полностью удовлетворяло. Я думаю, у каждого какая-то была вот такая своя узкая цель, а возможности добиться это точно были, вот это уже ничего не скажешь, были возможности, если ты хочешь учиться, вот это... факт, это никак тут по-другому и нельзя говорить, потому что в отношении учебы были большие поблажки, но если во время.. или это после войны.. даже вышло специальное постановление, что на учебу отпускать, вот мой муж так же ушел с работы, не отпускали, а вот на учебу - пожалуйста, тебя отпускают. Учиться, и все бесплатно, куда ты хочешь, туда ты и иди, пожалуйста. Были большие возможности, и конечно у кого было стремление, те могли реализовать себя, но коль не было, так... что-нибудь другое находили, кто вязал, кто шил, кто там такое. А ведь был период, знаете как все вышивали? После войны крестиком. Только что в трамваях не вышивали.

- А почему вдруг?

- Ну как, видимо, что-то такое женское там было.. начало. Так вот, а я работала за городом, на поезде мы ехали, и вот сидят женщины.. потом гладью было, потом что-то все бросились вязать. Вот после войны, казалось, вещей не было, ну не было этой моды, ну и шерсти не было. Потом появилась шерсть, вначале импортная, начали все вязать. Как-то себя заполняли, конечно. А вообще, я вам скажу, еще, очень большое спасибо нашим композиторам, которые создавали прекрасные песни. Вот мы же все влюблены в песни своей молодости. Они были заразительны, они были такие.. бодрые.., веселые, как-то мы этим очень заполнялись. Вот я сейчас.. со своими уже правнуками бываю за праздничным столом - никто не поет, никто не танцует, если только танцы вот так - подергаются на месте. А мы же как песни хорошо пели, это же обязательный ритуал был, я не знаю, как там.. в других кругах, а вот у нас обязательно мы пели, мы все танцевали, много анекдотов рассказывали, всякие там даже роли исполняли, придумывали. В общем мы очень хорошо веселились, надо сказать, а сейчас, ну скука, ну скука. Потом разговоры у нас были какие-то интересные, или я сейчас в такую попала компанию, может, все же специфика. Люди, которые так вот занимаются торговлей, по моему, ...не очень.. Я это тоже скидку делаю. Ну а в своих-то компаниях мы теперь-то уже не собираемся, это естественно. Так что...Как-то себя мы реализовали. А что касается учебы - это.. это тоже очень здорово было. Я помню, я читала курс лекций «высшая нервная деятельность» на курсах повышения квалификации педагогов в детских учреждениях. Там же есть всегда вот... педагогов. И каждые 5 лет надо было повышать свою квалификацию, потому что наука двигалась и так далее. Ну все было это очень хорошо организовано: их снимали там на сколько-то месяцев, на 2 или на сколько-то, они ходили, добросовестно, на лекции и так далее, большинство, конечно, очень внимательно слушали, это им было ну.. Скажем, мой предмет, потому что это им прямо вот нужно было, сразу, что называется, реализовать можно было, новые приемы, подходы, почему так. А у некоторых, конечно, такая

тоска была, отсутствие в глазах, не очень им это было интересно. Как-то какой-то был, не помню, случай, пошел разговор, а я им сказала: а как вы думаете, вот такие курсы .. в Америке, бесплатно или нет? Ой, конечно, за плату у них там, у капиталистов,.. конечно, за плату. Говорю, правильно, и причем за большую плату. И я уверена, что там они ловят каждое слово, и все им интересно. А почему, потому что, что-то им начала рассказывать такое что-то последнее. Вот я говорю: самые последние сейчас эксперименты, я не знаю еще как окончательный будет результат, но вот напрашивается, что ... Они: это уж нам не надо, уж еще, еще окончательных-то нет. Вот к этому. Ну И конечно, если бы были платные..., так для них было так удивительно, что бы курсы были платные, а я вот как наговорила им, как в воду смотрела, вот теперь пожалуйста, за все надо заплатить. Это расхолаживало людей, то, что все было бесплатно, это.., это расхолаживало. Вот так бывает, все палка о двух концах, с одной стороны хорошо, а с другой стороны..

- А вот вы скажите все-таки оглядываясь на прожитые годы, вы можете сказать, что вы были счастливы?

- Лично я? Конечно, я счастлива была. А чего? Я чего хотела - добилась. Слушайте, ну представьте вы себе.. приехала девчонка - маленькая вот такая, некрасивая, такая вертушка в 18 лет я трамвай только увидела! И большой город. Я нигде ничего не видела. И чего задумала, я добилась. Ну конечно я очень.. Что трудно было.. что хлебнула я лиха, ну так и что, так это все проходит. Сейчас трудно, а потом и хорошо. А сейчас так я вообще, по-моему, живу как графуня. Ну конечно.. Нет, я считаю, что у меня жизнь удалась, чего же.. У меня дочь... хорошая, ко мне хорошо относится она, на хорошей работе, почитаемая, умница. Внуки - те вообще, там все восторгаются.. моими внучками. Но они на самом деле.. деловые и . как.. стремятся и учиться и работать. А уж правнуки - так это вообще, конечно, золото сплошное. Так что даже если бы я ничего не имела, но я бы дожидла до правнуков - то уже человек должен сказать, что он счастлив. Ну вы подумайте, до правнуков. А я помню моя мама говорила, когда вот у нее первый внук появился, а я иногда так посмотрю и говорю: ой, мама, как интересно, ты уже и бабушка. Она говорит: бабушка-то что, а вот раньше бывало где-нибудь услышишь, что прабабушка дожидла, Так редко, там где-то в деревне услышишь, что до правнуков доживали. Вот так она это.. А я и думаю, вот прямо так бы и сказала маме, вот я-то тоже дожидла. Так я-то еще хочу до праправнуков дожить.